

1804+ ЕРОФЕЙ СВЯТОПОЛК-МИДСКИЙ

1855—81

**Александр II Освободитель.
Великие реформы. Большая игра**



Ерофей Святополк-Мидский

**1855—81. Александр II
Освободитель. Великие
реформы. Большая игра**

«Издательские решения»

Святополк-Мидский Е.

1855—81. Александр II Освободитель. Великие реформы.
Большая игра / Е. Святополк-Мидский — «Издательские
решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ
УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Эта
книга задумана как своеобразный учебник истории, но написана на стыке
документального и развлекательного жанров. В ней автор, с одной стороны,
слой за слоем препарирует для читателя эпоху царя-освободителя,
а с другой — создаёт цельную рамку, увязывающую воедино события внешней
и внутренней политики, экономики и культуры.

© Святополк-Мидский Е.

© Издательские решения

Содержание

Предупреждение	6
От составителя	7
Вместо предисловия. Команда не в полном порядке	10
Часть I. «Благодатное время надежд»	14
ГЛАВА 1. Крымская война. От руин Севастополя к Парижскому миру (1855—56)	14
ГЛАВА 2. Россия сосредотачивается. Оттепель и гласность (незабвенный 1856-й)	36
ГЛАВА 3. Главная из реформ. Крестьянский вопрос (1857—61)	63
ГЛАВА 4. Расколота интеллигенция. Размежевание либералов и демократов (1857—61)	76
Часть II. Нарастание противоречий	98
ГЛАВА 5. Великая реформа и обманутые надежды (1861—62)	98
ГЛАВА 6. Польша. Апогей нестабильности (1863)	125
Конец ознакомительного фрагмента.	137

1855—81. Александр II Освободитель. Великие реформы. Большая игра

Ерофей Святополк-Мидский

*...прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.
В. Маяковский*

Иллюстрация обложки: Виллевальде Б.П. Открытие памятника Тысячелетия России в Новгороде 8 сентября 1862 года. Россия, г. Санкт-Петербург. 1864 г. © Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород.

Иллюстрация обложки Виллевальде Б.П. Открытие памятника Тысячелетия России в Новгороде 8 сентября 1862 года. Россия, г. Санкт-Петербург. 1864 г. © Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород.

© Ерофей Святополк-Мидский, 2026

ISBN 978-5-0069-8607-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предупреждение

В книге демонстрируются сцены потребления табачных изделий, спиртных напитков, половых соитий и звучат призывы к революции. Это не должно вводить читателя в заблуждение. Автор твёрдо и чётко стоит за трезвость, целомудрие, политическую благонадёжность и здоровый образ жизни. Сим победиши!

От составителя

Теперь ничто не мешает представить эту рукопись на суд широкой публики. Умирая, автор данного «историко-художественного» сочинения передал его вашему покорному слуге, завещав распорядиться по своему усмотрению. Сознвая несовершенство своего литературного слога и дилетантизм в области исторических познаний, ныне покойный мой друг при жизни наотрез отказывался от публикации настоящего труда, написанного, как он говорил, для собственного развлечения в часы обуревавшей его скуки. Вместе с тем, несмотря на все присущие этому тексту недостатки, нельзя исключать, что он окажется небезынтересным для любителей «нескучной истории». Не претендуя на звание строгого научного исследования (автор никогда не зарывался в пыльные архивы, хотя и был не понаслышке знаком с основными источниками и письменными памятниками рассматриваемой эпохи), представленная работа всё же покоится, насколько это возможно, на прочной документальной основе, преследуя цели в первую очередь просветительские и дидактические, но при этом тяготеет к жанру художественно-развлекательному.

Сам сочинитель определял свою манеру письма как «исторический импрессионизм»: широкими мазками обрисовать конкретный временной период, погрузив читателя в хитросплетения тогдашней злобы дня; при этом чем дольше вы всматриваетесь в представленное полотно, тем рельефнее в вашем сознании проступают причинно-следственные связи, объединяющие в единое целое мозаику казалось бы разрозненных фактов.

Конечно, врождённое отсутствие литературных способностей («медведь на руку наступил», как выражался покойник) не позволило автору полноценно реализовать изначальный замысел, поэтому упомянутая «художественность» заключается здесь скорее не в выразительных средствах, за которые мы обычно ценим искусство, а в относительной свободе и непринуждённости изложения, пускай местами и отягощённого «корявым языком трактата».

Хотя, скажу честно, менее суровые судьи находили, что по своему энциклопедическому размаху (и замаху) произведение приближается к Льву Толстому (почти «Война и мир» или «Анна Каренина», где роман — повод поговорить обо всём), но при этом изложено лёгким, гладко-скользящим и элегантным слогом Тургенева, а ряд приёмов — например, раскрытие героев не через описание, а через их слова и поступки, — явно отсылают к Чехову. Вообразите к тому же, что на всё это наслаивается обильно изливаемая салтыков-щедринская ирония, а тщательность, с которой наш летописец подбирал слова, наводит на мысли о Флобере. Не знаю, насколько такая восторженная оценка соответствует действительности, но как человек, персонально знавший автора, добавлю: иной раз он ещё и бегал, бывало, по комнате, размахивая исписанными листами и крича что-то вроде пушкинского: «Ай да имярек, ай да сукин сын!», из чего можно заключить, что за всей его ложной скромностью скрывалось непомерное честолюбие.

Лично мне показалось куда более интересным другое. Осмелюсь предположить, что самые удачные находки были сделаны в плане композиционном.

Во-первых, это попытка продемонстрировать синхронность и взаимосвязь событий европейской (зарубежной вообще) и отечественной истории — то, чему по какой-то странной причине не уделяют достаточно внимания в наших школах, а зря: умение соотносить одно с другим весьма помогает улавливать общие исторические тенденции. К примеру, при таком подходе бросается в глаза определённое историческое отставание Российской империи от Западной Европы: то, что впервые зарождалось там, через несколько десятилетий или полвека докатывалось и до нас. Взять промышленный переворот с последующей ломкой всей парадигмы социально-экономических отношений: когда у европейцев наступил переход ко «второму индустриальному укладу», мы только начинали полноценно осваивать уже устаревшие технологии.

Что с того, что вы вышли в лидеры по производству чугуна, если остальной мир теперь делает упор на сталь и развивает химическую промышленность? Можно ли щеголять статусом «аграрной державы», если соседние «индустриальные» страны и хлеба производят больше, чем вы, хотя, казалось бы, в силу одной только специализации вы должны обладать сравнительным преимуществом. Это же, кстати, объясняет, почему внутри страны оставались невостребованными передовые наработки и изобретения отечественных учёных, скажем, в электротехнике.

Во-вторых, в части собственно российской истории, автору хотелось показать многочисленные связи между её экономическими, внутри- и внешнеполитическими, а также культурными аспектами. Обычно в учебниках эти сферы государственного управления и общественной жизни рассматриваются изолированно, как бы параллельными курсами, что на выходе приводит к неспособности соотнести одно с другим, как бы наложить эти области друг на друга. В результате большой объём исторического материала не укладывается в цельную рамку; оставаясь набором отдельных фактов, имён и датировок, он забывается вскоре после прочтения. Исторические романы, напротив, пытаются осмыслить ситуацию в целом, но, как правило, «отвлекаются» на пространные художественные описания и творческий вымысел. Данная книга — попытка нащупать нечто среднее. С одной стороны, это — не роман: тут нет придуманных персонажей и вымышленного сюжета, а логика повествования напрямую вытекает из массива данных, доступных автору на момент написания работы. Но и учебным пособием эту хронику не назовёшь.

Из этого следует третий пункт: не боясь укоров строгих академиков в пересказе «пошлых исторических анекдотов», сочинитель мог позволить себе с относительной свободой погружаться в раскрытие личных связей тех или иных деятелей, их окружения и черт персонального характера, что помогло сделать рассказ об эпохе более увлекательным, а также объяснить подоплёку принятия тех или иных правительственных решений.

Ну и четвёртое: увязка исторического повествования с наиболее выдающимися произведениями литературы и культуры вообще, привлекаемыми в том числе в качестве своеобразных иллюстраций, чтобы выстроить ещё более крепкий фундамент для лучшего понимания контекста, подтекста и разного рода глубинных смыслов.

О достоверности: практически все приводимые в тексте реплики, цитаты и диалоги приводятся на основе документальных, мемуарных и дневниковых источников. Так, если царь что-то говорит, значит, эти слова скорее всего были зафиксированы кем-то из присутствующих (и тут уже мы полагаемся на их совесть или память); то же касается и других персонажей книги. Вообще, автор, хотя и подвергал материал творческой или стилистической обработке, по большому счёту практически ничего не придумывал; подходя к написанию текста, он руководствовался не заранее сформированными взглядами и убеждениями, а только желанием найти ответ на вопрос: а как оно было на самом деле?

Многое в книге дано сквозь призму населяющих её персонажей, однако воспринимать их оценки нужно осторожно: с поправкой на то, что человек плохо понимает время, в котором живёт, ибо его осознанию доступна только часть окружающей действительности. Напротив, взору потомков, то есть нас с вами, с определённой исторической дистанции открывается то, что было сокрыто от глаз современников, но изнанкой этого «знания задним числом» является то, что из-за больших временных расстояний наше восприятие прошлого как бы затуманивается, мы судим о нём с позиции дня сегодняшнего, тем самым впадая в своеобразную «абerrацию дальности». Пытаясь избежать данной ошибки, автор стал под увеличительным стеклом рассматривать мелкие детали и препарировать эпоху слой за слоем, показывая развитие ситуации в динамике, но при этом не забывая переключаться на более общий ракурс.

Вероятно, кому-то получившаяся картина покажется слишком «нелицеприятной», но это и хорошо: нелицеприятность, то есть беспристрастность и объективность, рождается при отсутствии стремления угодить кому-либо. Историческая правда, как и истина вообще,

конечно, понятие весьма зыбкое и относительное, но в попытке хоть как-то её соблюсти можно, во-первых, избегать селективности, не отсеивая «неудобные» факты, а во-вторых, освещать их с разных точек зрения. В данном случае задачи показать кого-то в чёрном или белом цвете не стояло, напротив, интерес заключался в том, чтобы объяснить суть разногласий между противоположными позициями: поставить читателя над схваткой, а не втиснуть его в один из лагерей. Впрочем, ручаться за то, что иной не усмотрит в тексте определённой тенденциозности, тоже не могу, но ответственность за неё решительно перекладываю на современников рассматриваемого периода.

Во всяком случае, думаю, что после этой книги читатель сможет по-новому, более полно взглянуть на представленных в ней исторических деятелей и совершенно по-другому будет воспринимать ключевые произведения русской литературной классики. Ведь сколько злободневности, актуальности и социальной остроты мы не замечаем, читая Тургенева, Достоевского или Толстого. Ну что для нас спор о древних языках, который ведут герои «Братьев Карамазовых»? В общем-то просто более-менее занимательный пассаж, а современники по этому вопросу сходились в ожесточённых идейных схватках.

В целом всё это звучит любопытно, хотя и довольно странно, но что поделать: с одной стороны, последняя воля человека, завещавшего сей манускрипт, — священна, а с другой — мёртвые сраму не имут. Бумага всё стерпела, и теперь главный вопрос в том, хватит ли терпения у живых людей, рискнувших взять в руки этот том.

И лишь теперь, после этих показавшихся мне необходимыми предварительных замечаний, осмелюсь ознакомить уважаемую публику с содержанием данного опуса, завершив странное вступление словами Александра Блока:

*Тебе, читатель, надоело,
Что я тяну вступленья нить,
Но знай — иду я к цели смело,
Чтоб истину установить.*

Вместо предисловия. Команда не в полном порядке

Умирающий император лежал в своём рабочем кабинете на жёсткой походной кровати, укрытый солдатской шинелью. За окнами Зимнего дворца, завывая ветром под низким свинцовым небом, продолжала бушевать студёная зима 1855 года. Хотя на календаре заканчивался февраль, до настоящей весны в Петербурге было далеко.

— Сколько мне осталось? — собираясь с последними силами, спросил Николай Павлович у лейб-медика Мартина фон Мандта.

— Перед вами несколько часов, государь, — без лукавства отвечал прусский хирург.

Лёгкие самодержца, всегда отличавшегося крепким здоровьем и не привыкшего хворать, отказывали, каждый последующий вздох давался ему всё трудней.

— Не думал, что так трудно умирать.

Время тянулось мучительно медленно — прежде чем остановиться навсегда. Принесли депеши из осаждённого Севастополя, но его величество даже не посмотрел на них.

— Эти вещи меня уже не касаются. Пусть отдадут моему сыну.

Когда попы кончили нудную вереницу заупокойных молитв, завершив обряд соборования, в комнату для прощания стали входить придворные из ближнего круга, внуки и дети императора.

— Сашка, сдаю тебе мою команду, к сожалению, не в том порядке, как желал, оставляя много хлопот и забот, — наставлял царь своего сына, наследника престола Александра Николаевича. — Держи всё...

Николай I заболел 4 февраля. 11-го ему стало хуже. 14-го курьер из Севастополя привёз весть о провале наступления генерала Степана Хрулёва под Евпаторией, составлявшей самое слабое звено в позициях неприятеля: участок прикрывался турецкой армией. На следующий день раздосадованный император снял Александра Меншикова с поста главнокомандующего, назначив на этот пост командующего дунайской группировкой Михаила Горчакова — генерал двадцать лет прослужил начальником штаба при прославленном фельдмаршале Иване Паскевиче, к которому император испытывал безоговорочное доверие. Это было последнее распоряжение самодержца. 17 февраля его состояние, до этого не вызывавшее, по словам врачей, никаких опасений, вновь обострилось. Уже утром 18 февраля (2 марта) 1855 года Николая Павловича не стало.

Монарх умирал в муках, но в целом смерть наступила внезапно и неожиданно для всех. Такой скоропостижный исход мгновенно породил слухи о самоубийстве. Одни утверждали, что государь, ещё не долеченный от простуды, намеренно вышел в мороз, подхватил воспаление лёгких и слёг. Другие возражали, что его величество отравился. Третьи спорили: царя отравили. И даже указывали на лейб-медика Мандта. Доктор, пользовавшийся высоким доверием Николая Павловича и через это имевший при дворе массу завистников и недоброжелателей, вскоре был вынужден покинуть страну — от греха подальше. Но характерно, что слухи эти, писал историк Евгений Тарле, «шли из дворца, распространялись среди литературного мира и бродили в народной массе».

— По крайней мере, он ушёл вовремя, — примиряюще говорила одна из фрейлин, — потому что всё равно не смог бы пережить краха этого блестящего тридцатилетнего царствования, фантазмагория которого рассеялась как дым. Подумать только, всего за полтора года разрушились подмостки иллюзорного величия!

Как и пятьдесят четыре года назад, когда «умолк рёв норда», подданные встретили смерть деспотичного монарха с облегчением. Впрочем, больше всего радовались не либералы-реформаторы, а заядлые консерваторы, всё ещё уверенные в непогрешимости николаевской системы. Наиболее убеждённым её сторонником являлся наследник почившего в бозе государя.

Однако то, что «команда» Александру Николаевичу досталась «не в полном порядке», не должно было стать для его высочества — теперь уже величества — большой новостью. С положением дел в богоспасаемом отечестве 37-летний монарх был знаком не понаслышке — за его плечами было полтора десятка лет деятельного участия в государственных и военно-административных трудах, к которым его постепенно приобщал отец.

В отличие от покойного родителя, военного инженера и любителя фрунта, на которого престол свалился благодаря стечению обстоятельств, Александра II сызмальства готовили к управлению государством. Школьный курс читали лучшие университетские профессора, программу старших классов преподавали николаевские министры. За подготовку наследника престола отвечал поэт и придворный Василий Жуковский, за военные науки — полковник Карл Мердер, а после его ранней смерти — престарелый генерал Павел Ушаков. Жуковский, конечно, хотел обойтись вообще без муштры и шагистики. «Он же привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве — казарму», — предупреждал Василий Андреевич, на что тогдашний хозяин престола возражал: «Сашка должен быть военным в душе. Без военного стержня в нашем веке человек потерян». Тем не менее поэт всячески старался вырастить просвещённого монарха, даже составил особую программу. Его метода заключалась в том, что образование — это единство обучения и воспитания. Ученик должен не только овладеть знаниями об окружающем мире, но и выработать в себе высокие нравственные качества.

«Царский класс» состоял, вместе с главным учеником, из трёх человек. Одним из одноклассников был «отличник» Иосиф Виельгорский, чей отец был известным меломаном и другом императора, а другим — вечно отстающий «двоечник» Александр Паткуль, мальчик из семейства остзейских баронов и потомственных военных. Расчёт такой: великий князь должен, с одной стороны, тянуться к большему, а с другой, не чувствовать себя ущербным. Заниматься приходилось много — можно сказать, что детства у ребёнка не было. Спрашивали с его высочества по всей строгости, постоянно напоминая о его царственном предназначении. Условия — спартанские: ранний подъём, жёсткая постель, лёгкая одежда, чтобы закалялся, и никаких излишеств. Весёлой отрадой были игры со сверстниками и часы семейного досуга. Как-то раз августейший отец устроил придворным детишкам забаву в виде «штурма» петергофского каскада фонтанов. В редкий выходной дети забирались на Детский остров в Александринском парке Царского Села, где для наследника была выстроена ребяческая «резиденция». Зимой же с подачи матери царского семейства, дочери прусского короля, при дворе каждый год устраивались рождественские ёлки. Атмосфера — волшебного праздника — была примерно как в сказке «Щелкунчик», как раз в эту эпоху написанную немецким писателем Амадеем Гофманом.

Вообще центром семейной — частной — жизни николаевской семьи, которой император старался придать идиллический характер, был не официальный Зимний дворец, летнее Царское Село или парадный Петергоф, а расположенная на задворках последнего Александрия, названная так в честь любимой супруги Николая I. Поскольку императрица не жаловала парадных интерьеров с помпезными церемониалами, для неё был выстроен особнячок «Коттедж», напоминавший загородную английскую виллу и ставший уютным гнёздышком царского семейства. Когда же стал подрастать великий князь, по соседству для него выстроили Фермерский дворец.

Однако несмотря на эту семейно-романтическую пастораль, большую часть времени императора, любившего вникать во все мелочи, занимало руководство необъятной империей, которую он направлял на путь истинный своей твёрдой рукой. Николай был человеком жёстким и волевым — и воля эта подавляла характер наследника, не обладавшего талантами отца.

Завершался курс обучения, как водится у монархов и аристократов, большим путешествием. Сначала по России — через Урал и до Западной Сибири. Крайняя точка — Тобольск, где Жуковский, постоянно ходатайствовавший за претерпевших от властей литераторов, под-

вёл к Александру ссыльных декабристов, а до этого в Вятке (Киров) добился смягчения наказания для опального Герцена. На обратном пути объездили всё Поволжье, Новороссию и Крым, в общей сложности посетив порядка полсотни городов. «Это всего лишь оглавление книги, беглое знакомство с её содержанием», — предупреждал Василий Андреевич, назвавший растянувшееся на семь месяцев путешествие «обручением с Россией». В следующем году наследника ждал гран-тур по Европе. Нужно было и себя показать, и мир посмотреть, а самое главное — приглядеть жену: император был недоволен тем, что его повзрослевший Сашка, — мальчику стукнуло двадцать, — почувствовав свободу, увязался за Ольгой Калиновской, фрейлиной из польских дворян. К слову, это была уже не первая куртизанка цесаревича, который мучительно переживал, что в его отсутствие девушку выдадут замуж и отошлют подальше от двора. Уже почти сто лет как пару российским монархам искали исключительно среди немецких принцесс. Александр колесил по германским княжествам, но всюду воротил нос. «Есть ещё одна молодая принцесса в Дармштадте, которую мы забыли посмотреть», — поддел великого князя один из молодых повес, включённых в его свиту. «Нет, благодарю, — отвечал его высочество, — с меня довольно бездушных кукол, все они скучные и безвкусные». Источником скуки были разговоры о Шиллере и Гёте, а причиной безвкусицы — деланное жеманство и притворное кокетство. Тем не менее уже намеченный маршрут менять не стали. Старый герцог был очень рад и принял российского цесаревича с радушием. Хотя дармштадтские принцессы в прошлом уже становились русскими царицами, на отличную партию для своей дочери герцогу рассчитывать не приходилось. Родилась девочка после того, как супруги разъехались, а её мать стала жить со своим камергером, что породило множество пикантных слухов. Зная о своём «сомнительном» происхождении, Мария и не пыталась понравиться. Она как ни в чём не бывало кушала вишню — и когда к ней подвели Александра, его приветствие застало её врасплох. Чтобы ответить, сконфуженной принцессе, не привыкшей к свету и блеску больших дворов, пришлось быстрым движением выплюнуть косточку и спрятать её в руке. «Я женюсь только на ней, вот моё решение!» — торжественно писал наследник удивлённым родителям. Его царственной матери — дочери прусского короля — лично пришлось наводить справки по дальним родственникам, чтобы убедиться в благонадёжности сыновнего выбора. Тем временем экипажи уже были поданы, дорога вела любвеобильного юношу навстречу новым впечатлениям — в Голландию. На верфях, подобно великому предку, ему, конечно, работать не пришлось, больше посещали балы, приёмы и концерты, однако в Зандаме, где сохранился домик Петра Первого, рука Жуковского начертала стихи — назидающее подопечному и будущему императору:

*Над бедной хижинкою сей
Витают Ангелы святые:
Великий князь, благоговей!
Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась великая Россия!*

Кульминацией путешествия стал Лондон. В тот момент Николай I уже отчаялся договориться о разделе турецкого наследства с австрийцами и начинал всячески обхаживать англичан, надеясь заключить с ними на этот счёт джентльменское соглашение. Однако на берегах Темзы русскую молодёжь больше интересовали не хитросплетения европейской политики, а свободный воздух Гайд-парка, увеселительные сады Воксхолла, пикники в компании эмансипированных англичанок и прогулки верхом. В Букингемском дворце наследника русского престола встречала девятнадцатилетняя королева Виктория — она только вступила на престол и ещё не успела обзавестись супругом. Приложившись к ручке юной англичанки и откружив с ней в вальсе, бедный Сашка забыл и про польскую фрейлину, и про немецкую принцессу. «Я влюблён», — сообщал он своему адыютанту, конфиденциально, вполголоса прибавляя: «А

она, кажется, разделяет мои чувства». Разумеется, о браке не могло идти и речи. Муж британской монархини — даже не король, а просто принц-консорт. Опять же, вера не православная. «Совсем он там голову что ли потерял? Уж лучше пускай берёт эту дармштадтскую Золушку и дело с концом. Какой вздор!» — расплылся в Петербурге государь, когда до него дошли слухи об амурных похождениях великого князя. Пани Калиновскую в спешном порядке выдали замуж за польского графа, а в Петербург выписали гессен-дармштадтскую принцессу. Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария была крещена в православие и стала Марией Александровной. Далёкая от придворных интриг и светских забав, она родит Александру двух дочерей и шесть сыновей.

Постранствовав и воротившись домой, цесаревич освоил краткий курс «высших государственных наук», — стратегию читал генерал Генрих Жomini, знаменитый военный теоретик, финансы — министр Егор Канкрин, а внешнюю политику — дипломат Филипп Брунов, — после чего стал привлекаться императором к государственной работе. Сначала Сенат, затем дорос до Госсовета и Комитета министров. Тайные комитеты по крестьянскому вопросу, командование войсками столичного гарнизона. Практическая школа отца выбила из наследника юношескую блажь, всё это просвещение и гуманизм остались забытыми главами из школьных учебников и философских трактатов. По крайней мере, больше он не просил за ссыльных бунтовщиков и нищих литераторов, а государь в своё отсутствие не боялся оставлять его высочество «на хозяйстве». С кончиной же незабвенного родителя наступал час применить полученные знания и накопленный опыт на практике, во благо отечества, которое переживало не самые лёгкие времена. Вопросом первостепенной важности было завершение войны, выход из дипломатической изоляции и восстановление расстроенных финансов.

Часть I. «Благодатное время надежд»

ГЛАВА 1. Крымская война. От руин Севастополя к Парижскому миру (1855—56)

*Не весёлую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.
Алексей Апухтин*

В одной из зал Зимнего дворца юный цесаревич Николай Александрович — первенец теперешнего государя, названный в честь великого деда — за игрой с братьями рассуждал с важным видом:

— Нынче папá так занят, что совершенно болен от усталости. Когда дедушка был жив, папа ему помогал, а папе помогать некому: дядя Константин слишком занят в морском департаменте, дяди Ники и Мишель слишком молоды, а я ещё мал, чтобы помогать ему.

— Дело совсем не в том, что ты слишком мал, ты просто слишком глуп, — решил подразнить наследника престола его младший брат, великий князь Александр Александрович.

— Это неправда, что я глуп, — возражал Николай, — я только слишком мал.

— Нет, нет, ты просто слишком глуп, — настаивал, ехидно улыбаясь, Александр. Через секунду в него полетела запущенная старшим братом подушка, но на помощь пришёл четвёртый из сыновей императора, великий князь Алексей:

— Глуп, глуп! Просто глуп и всё! — кричал он.

Завязалась драка. Неизвестно, кто вышел из неё победителем, но старший из детей был прав. Действительно, ворох государственных дел — и ежечасных военных проблем — полностью поглотил Александра Николаевича: времени долго запрягать не было совсем и начинать приходилось с места в карьер. Нарушена внешняя торговля, бумажный рубль обесценился до двадцати копеек серебром, в казне — многомиллионный дефицит, действующая армия страдает от острой нехватки пороха, снарядов и винтовок, само оружие — устаревшее и неэффективное, тут и там начинают бунтовать крестьяне, угрожая незыблемости самодержавия.

А началось-то всё с того, что покойный государь Николай I решил стать владыкою морским, вернее — черноморским. Для этого требовалось раз и навсегда разрешить так называемый «восточный вопрос» — ускорить неминуемый крах империи турецкого султана, под гнѐтом которого изнывали славяне и арабы, и за столбить за собой осколки османских владений. «Порта — больной человек Европы», — любил говаривать царь и пытался убедить в этом других христианских государей. Золотой рыбки, исполняющей желания, у его величества не было, поэтому требовался союзник. Полагая, что в одиночку такой жирный кусок не проглотить, он рассчитывал взять в долю одну из великих держав. Поначалу хозяин престола делал ставку на Австрию, но Вена виляла, отмалчивалась и притворялась глухой. После того, как один австрийский князь по поручению своего государя валялся в ногах у русского фельдмаршала, слѐзно умоляя ввести русские войска для подавления венгерской революции, в Зимнем дворце вообще перестали воспринимать габсбургскую империю всерьѐз. Напротив, английский кабинет проявил куда большую чуткость — внимательно выслушал русского монарха и, хотя формально ни на что не подписался, по крайней мере не отказал. Не получив чѐткого ответа, в конце концов самодержец решил действовать в одиночку, ошибочно полагая, что в случае русско-турецкой войны австрийцы из чувства благодарности за спасение сво-

его престола сохраняют нейтралитет, французы, чьи отношения с британцами оставляли желать лучшего, окажутся в изоляции, а сами англичане мешать не будут и рано или поздно присоединятся к совместному дележу турецкого наследства. Поводом для разрыва с турками послужил искусно раздутый спор о праве покровительствовать христианским подданным султана. Первым актом конфликта стал переход православного воинства через Прут и оккупация Дунайских княжеств, вторым — уничтожение османского флота у турецких берегов. Тут-то ловушка, бережно подготавливавшаяся лордом Пальмерстоном, главой британской дипломатии, а затем и всего кабинета, и захлопнулась. В черноморских водах появилась соединённая англо-французская эскадра. Австрийцы присоединились к дипломатическому давлению и де-факто стали угрожать нашим юго-западным границам, а после того, как Николай, поставленный в ситуацию, когда каждый последующий шаг лишь ухудшает общее положение, был вынужден вывести войска из Валахии и Молдавии, туда с позволения султана была введена австрийская армия. Вскоре союзники уже высаживали десант в Крыму. Закидать неприятеля шапками не удалось, что показала первая же стычка — у речки Альма. Севастополь оказался заблокирован, а флот — парусный деревянный, во всём уступавший европейским кораблям с паровыми двигателями — затоплен на рейде. Осенние попытки снять осаду — вылазка под Балаклавой и сражение при Инкермане — результатов не дали. Затем наступила зима, принёсшая относительное затишье. Большие трудности доставляла эпидемия холеры, бушевавшая тогда на континенте и без разбору косившая всех от нижних чинов до высшего командования. Некоторое время войска неприятеля, чьи суда разбросал жесточайший черноморский шторм, страдали от проблем с тыловым обеспечением, но постепенно их удалось разрешить. Во всяком случае, снабжение британской и французской армий, удалённых от своих центров на тысячи километров, было налажено куда лучше российского, действовавшего на собственной территории. С одной стороны, отечественное интендантство и чиновничество в целом за долгие годы николаевского царствования привыкли безнаказанно и нагло воровать, с другой, за редкими исключениями, необъятная империя почти не имела протяжённых железных дорог и во многом полагалась на речной и гужевой транспорт. В итоге зимнее обмундирование для севастопольского гарнизона подоспеет лишь летом, но это было меньшим из зол. Осаждённый город находился под плотным артиллерийским огнём, а отвечать приходилось дозированно, потому что порох и снаряды были в дефиците и подвергались жесточайшей экономии. Отстреливались, лишь когда противник окапывался у тебя перед носом или уже массово лез на твои позиции. Основной же задачей становилось еженощное восстановление разрушенных за день бастионов и возведение новых фортификационных укреплений — в этом вопросе русские военные инженеры постоянно находились на шаг впереди. В целом брошенные начальством, которое привыкло к победным реляциям и больше интересовалось мундирно-парадной стороной военной жизни, русские солдаты и офицеры были вынуждены брать не числом, а умением, почти каждый день совершая бесчисленные подвиги. Стало ясно, что выстроенная императором за тридцать лет внешне блестящего царствования бюрократическо-полицейская система не способна обеспечить эффективного управления государством и войсками. Всё буквально трещало по швам. Ещё чуть-чуть и хозяин престола остался бы у разбитого корыта.

В светских беседах высокопоставленные иерархи и рядовые царедворцы оплакивали смерть Николая, но, апеллируя к божьему промыслу, тут же находили в сложившихся обстоятельствах некоторые преимущества.

— Бедный Николай Павлович! — сокрушался один вельможа. — Его величество — царствие ему небесное — никогда бы не пошёл на те унижительные уступки, которые требовали его противники. Он не привык быть в положении побеждённого.

— Ваша правда, граф, да что поделаешь, видать, на всё воля божья! Радует только то, что молодому государю будет легче. В ошибках прошлого нет его вины — он сможет без угрызений совести выйти из... данной ситуации.

Сам Александр, выступая перед главными сановниками империи в Госсовете, держался твёрдо, обещая править по заветам усопшего родителя:

— В надежде на молитвы покойного государя и в уповании на божью помощь вступаю я на родительский престол. Господа, не унывать! Мы не отступим ни на шаг, — обещал император.

Царь поначалу, не особо посвящённый своим родителем в тонкости дипломатического искусства, даже твердил, что будет верен принципам Священного союза, очевидно, разумея под тем борьбу с революцией. Его министр иностранных дел Карл Нессельроде, занимавший этот пост уже сорок лет, в продолжение которых во всём и всегда ориентировался на Австрию, даже теперь не оставлял надежд, что ему удастся наладить отношения с Веной.

В беседе с иностранными послами, на которую пригласили всех, кроме покинувших Петербург французов и британцев, самодержец пояснял:

— Мы готовы протянуть руку примирения, но если не встретим должного понимания, то я, господа, во главе верного мне государства, и весь мой народ — смело вступим в бой.

Разойдясь по посольствам, дипломаты так и отписали в свои столицы: мол, царь продолжать войну особо не хочет, но не желая порочить память любимого отца, готов завершить конфликт лишь на «почётных» условиях.

По большому счёту к весне 1855 года ни одна из сторон не была готова к мирному решению конфликта. Петербург был не в том состоянии, чтобы выдвигать свои требования. Каждое последующее решение российского руководства, на каждом шагу сталкивавшегося с новыми стратегическими дилеммами, оборачивалось ещё большим усугублением положения. С другой стороны, успехи европейцев на передовой тоже были далеко не очевидны, скорее наоборот, а без больших побед нельзя претендовать и на серьёзные уступки с противоположной стороны. Закончить же войну ни с чем, ретироваться несолоно хлебавши — значит потерять лицо и вложенные деньги. Поэтому, полагали на берегах Темзы и Сены, требовалось нарастить давление. Эту задачу могло решить вовлечение в конфликт австрийцев, а за ними последовали бы пруссаки, шведы и даже итальянцы.

Вена, ясно видевшая слабость российского положения, подвергалась мощнейшему давлению западных держав. С одной стороны её дразнили пряником в виде Дунайских княжеств, которые австрийцам даже разрешили оккупировать после ухода российских войск, рассчитывая раздразнить дальнейший аппетит. С другой — грозили кнутом, под которым разумелось отторжение от Австрии её итальянских владений: Ломбардии и Венеции. Идеальным для Габсбургов вариантом было бы присоединиться к западным союзникам, но при этом напрямую в войну с русскими не ввязываться. Значит, нужно тянуть время, предлагая разные мирно-посреднические инициативы. Под давлением Лондона и Парижа молодой император Франц-Иосиф и его канцлер Карл Буоль всё-таки обещали выставить австрийские войска против русских — в соответствии с соглашением от 2 декабря прошедшего 1854 года, однако обусловили своё возможное выступление моментом, когда будут исчерпаны последние дипломатические средства. Всю зиму, пока в осаждённом Севастополе продолжали греметь пушки, с подачи австрийского двора в Вене работала «**конференция послов**», которая пыталась нащупать возможные контуры мирного решения.

Конференция послов (январь-апрель 1855). На переговорах в австрийской столице представлять нашу страну должен был недавно назначенный российским послом Александр Горчаков, бывший лицеист, пушкинский однокашник и уже опытный дипломат. За его спиной — годы посольской работы в Лондоне и Берлине. Тормозила же его продвижение по карьерной лестнице независимость взглядов и отсутствие обязательной для царедворца привычки гнуть спину перед сильными мира сего. Так, однажды князь отказался заказать обед грозному шефу жандармов Александру Бенкендорфу, а своего главного начальника, министра иностранных дел Карла Нессельроде, раздражал нежеланием равняться на Вену. Теперь же, едва прибыв в

габсбургскую столицу, его сиятельство добился аудиенции в Хофбурге — зимней резиденции австрийских императоров.

— Ваше величество, — разъянял князь местному монарху, — соглашение от 2 декабря — не что иное, как косвенный, но весьма реальный ультиматум Австрии по адресу России.

— Я серьёзно поразмыслил обо всём, что вы мне сказали... Признаться, мы не смотрели на этот договор с тех точек зрения, которые вы мне указали, — с серьёзным видом обещал Франц-Иосиф, со всем соглашаясь и пожимая русскому посланнику руку.

В разговоре с Буолем Александр Михайлович строго предупреждал, что любое посягательство конференции «на честь и достоинство российского престола» будет означать конец переговоров. Однако почти с самого начала приходилось шаг за шагом идти на попятную, хотя и с высоко поднятой головой.

За основу этих сугубо предварительных консультаций, носивших скорее пристрелочный характер, были взяты «четыре пункта» старого французского ультиматума, с той лишь разницей, что теперь позиция ужесточалась: к требованиям антироссийской коалиции добавлялся пятый пункт, по которому в адрес Петербурга можно было выдвигать любые дополнительные претензии. Этаким кот в мешке. А что касается основных, то, во-первых, Россия была готова поделиться своим единоличным протекторатом над Дунайскими княжествами с остальными великими державами. Из этого вытекал второй пункт — свобода торгового судоходства на Дунае. Не возникало трудностей и с третьим пунктом — общее покровительство великих держав христианским подданным султана. Стиснув зубы приходилось согласиться с четвёртым пунктом, заобщённо сформулированным как «пересмотр статуса турецких проливов», однако приписка про «уменьшение преобладания России» на Чёрном море уже становилась неприемлемой. Главным требованием российской дипломатии было одно — предоставление таких условий, которые позволили бы хозяину престола сохранить лицо.

Как назло, западные представители, чувствуя, что жертва заглотила наживку и уже болтается на крючке, продолжали прощупывать, нельзя ли поддеть оппонента ещё сильнее. Развивая один из пунктов, британский посол лорд Уэстморленд стал добиваться упоминания о том, что соответствующие пункты старого, екатерининских времён, русско-турецкого трактата, утрачивают силу.

— Не касайтесь Кучук-Кайнарджи! — предостерегал Александр Михайлович западных дипломатов. — Это — одно из прекраснейших украшений нашего дипломатического венца. Это — право великой государыни на славу. Это — ненужная попытка затронуть национальное чувство, и так как я признаю за всеми вами, господа, право войти в зал мирных переговоров с поднятой головой, я не могу допустить вашей претензии заставить меня войти туда, опустив голову.

— Значит, вы отвергаете наши предложения? — уточнил британец. Его французский коллега Буркнэ, набрасывая заметки для донесения в Париж, записал, не дослушав ответа: «Tout est refusé». То есть — отказано во всём.

— Я принял несколько пунктов и возражал против других пунктов, — пояснил Горчаков.

Встревоженный Буоль, спасая едва начавшуюся конференцию от провала, поспешил всех примирить:

— Не желает ли господин посол взять двадцать четыре часа на размышление?

— Если этим господам угодно делать то же самое, — отвечал Александр Михайлович, — то я ничего так не желал бы, как того, чтобы собраться на вторичное заседание. Учтите, что любые требования в адрес России никак не должны затрагивать её суверенных прав на собственной территории и посягать на достоинство русского императора.

Тем не менее британцы, французы и подпевавшие им австрийцы клонили к тому, чтобы запретить России иметь военный флот и крепости на Чёрном море. Когда Александр II заявил,

что позорного мира не подпишет, венская конференция, протоптавшись на месте до апреля 1855 года, приказала долго жить.

Когда замолкают дипломаты... Между тем в Париже император Наполеон III, получив известие о кончине его «доброго друга» Николая I, пожелал выразить Александру Николаевичу свои соболезнования, но поскольку дипломатические отношения между двумя столицами были прерваны, донесено до Петербурга это было через посредника в лице саксонского посланника Лео фон Зеебаха, который приходился зятем российскому министру иностранных дел Карлу Нессельроде, то есть был женат на дочери сановника. Два монарха негласно обменялись любезностями и сожалениями, но остались при своих. Француз не мог выйти из войны без красивой победы. Ему, в частности, нужен был Севастополь.

Смутные слухи о негласных контактах между Парижем и Петербургом уже расползались по Европе и достигли Туманного Альбиона. Вставший во главе британского кабинета лорд Пальмерстон, главный поджигатель этой войны, беспокоился и суетился, но поделаться ничего не мог: основное бремя военных трудов лежало на французской армии, чья группировка насчитывала больше половины общей численности экспедиционных войск союзников. Сами же британцы делали ставку на проецирование мощи своего военно-морского флота, впрочем, ограничиваясь скорее демонстрацией силы — обстрелом с безопасного удаления финских крепостей. Результатов это не приносило, а счёт финансовых и военных издержек продолжал расти, вызывая в парламенте искреннее раздражение — многие лондонские политики не понимали, что забыли войска её величества за тридевять земель.

«Никогда в истории не было такого случая, — писал Сергей Сергеев-Ценский в своём романе „Севастопольская страда“, — чтобы несколько огромных государств, — из них два первоклассных, — соединившись вместе, послали отборные и большие армии, в изобилии снабжённые всем, что могла дать передовая военная техника Запада, и вот армии эти семь месяцев уже осаждали всего один только пограничный русский город, который к тому же перед началом осады совсем не был укреплён с суши, — и не могли с ним сладить!»

На этом фоне британский премьер, желая показать прочность англо-французского союза, даже пригласил Луи-Наполеона в Лондон, где королева Виктория вручила императору французов Орден подвязки — высшую награду королевства, которой удостоиваются лица монархических кровей. Вернувшись в Париж, французский государь возмущался:

— Англичане хотят, чтобы мы послали наши эскадры на Балтику. Я спросил, что они могут предложить взамен, чтобы вознаградить французский вклад. Разумеется, ничего внятного услышать от них не пришлось. Пускай англичане знают, что таскать для них каштаны из огня мы не будем. А какие новости из Севастополя?

Военный министр докладывал, что в результате **второй бомбардировки** осаждённого города, начавшейся **в апреле** и продлившейся десять дней, разрушена большая часть оборонительных укреплений, потери севастопольцев составили шесть тысяч человек убитыми и ранеными, но русские оказывают такое сопротивление, что непонятно, как подступиться к штурму.

— Нам нужен Суворов, — сказал император.

— Сир, мы имеем Пелисье, — отвечал министр.

Жан-Жак Пелисье был полководцем из числа «алжирских генералов», командовал пехотными частями «зуавов». Изначально полки зуавов набирались среди туземного населения североафриканских племён, но за несколько десятилетий превратились в элиту французской армии, сохранив от былых времён необычное обмундирование. Что касается самого Пелисье, то он имел славу энергичного военачальника, не останавливавшегося перед самыми решительными и жестокими мерами. Сейчас от него требовалось оживить вялотекущую крымскую кампанию. Уже в мае новый командующий приказал начальнику инженеров генералу Адольфу Ниелю готовить штурм Малахова кургана, который фактически являлся ключом к Севастополю. Французы называли эту высоту «Зелёный холм».

— Напасть на Зелёный холм? Да можно ли об этом думать? Ведь это будет целое сражение! — воскликнул Ниель.

— Что же, это и будет целое сражение! — согласился Пелисье.

Всю зиму русские и неприятельские инженеры вели **тоннельно-окопную войну**. Противник прокладывал галереи подземных ходов — или мин — и закладывал туда пороховые заряды в надежде подкопаться под позиции наших войск, но наткнулся на встречное противодействие. Одновременно, на поверхности, тянулись окопы и траншеи. Вообще-то окоп — это скорее яма, из которой можно вести огонь. Траншея же образует длинные ходы сообщений. Французы и британцы рыли зигзагообразные траншеи, чтобы поближе подобраться к нашим батареям. На языке фортификации это называется — апроши, буквально — подступы. В свою очередь обороняющаяся сторона прокладывает контр-апроши. Редуты и люнеты — примеры контр-апрошей. Редут окопан с четырёх сторон, люнет — только с трёх и имеет оголённый тыл. Данного рода сооружения и были возведены под руководством генерала **Эдуарда Тотлебена**, получив имена по названию расположенных вблизи частей и имея целью защиту Малахова кургана. Визави русского инженера понимал, что взятие Малахова кургана и располагавшегося на нём Корниловского бастиона — лишь полбеда, сначала предстояло овладеть выдвинутыми вперёд контр-апрошами.

Луи-Наполеон, когда посылал нового командующего под стены Севастополя, исходил из того, что прежде всего надо разгромить крымскую группировку русских войск, сосредоточенную у Симферополя, и лишь после этого приниматься за севастопольский гарнизон. Это значило — переходить от позиционной к маневренной войне. Пелисье же был намерен идти напролом и, ссылаясь на испорченный телеграф, делал вид, что до не него не доходят директивы из французской столицы, а когда тамошний монарх, привыкший лично контролировать все процессы, послал в Крым своего адъютанта, дабы тот направлял действия командующего в соответствии с волей императора, будущий маршал жёстко пресёк попытку перечить его собственной линии.

— Генерал, — отчитывал столичного эmissара Пелисье, — в армии нет адъютантов императора, хранителей его идей и планов, есть только главнокомандующий и подчинённые. Вы — один из последних и должны повиноваться. Если вы будете так продолжать, я приму самые строгие меры и удалю вас из армии. Кроме того, запрещаю вам сноситься с императором помимо меня.

Севастополь встречает новое начальство. О смерти Николая I в Севастополе узнали, как это ни странно, от вражеских войск, которые получали известия по телеграфу, протянутому из Константинополя, в то время как Петербург только начинал осваивать электрическую связь — несколько линий, возведённых немецким «Сименсом», связывали город на Неве с Кронштадтом, Царским Селом и Москвой, а через Москву также и с Киевом. Поскольку телеграфные столбы, как до этого башни оптического телеграфа, или семафора, который соединял у нас Питер с Варшавой, ставились на холмах, про передаваемые по проводам депеши говорили: послать верхами. В целом же пока приходилось обходиться дедовскими методами — курьерами и фельдъегерями, неделями тряпшимися по пыльным ухабистым трактам или увязавшими в непроходимой грязи весенней распутицы. В самом лучшем случае новости из Киева, где оканчивались электрические провода, доходили до Севастополя за четыре дня. Неудивительно, что одним из первых повелений Александра II стало требование в кратчайшие сроки обеспечить его телеграфной связью с крымскими войсками.

Вместе со сменой руководства страны произошли изменения и в российском командовании. Когда отстранённый ещё покойным государем Александр Меншиков, последние месяцы больше интересовавшийся обострившимися у него старческими болячками, чем состоянием дел, покинул полуостров, то временно возложил обязанности начальника севастопольских войск на генерала Дмитрия Остена-Сакена, чья полковая жизнь, по свидетельству очевидцев,

«заклучалась в чтении акафистов, в слушании обеден и в беседах с попами». Религиозность графа дала повод шутить, что, мол, оставляя Севастополь на Остен-Сакена, светлейший фактически вручал судьбу города в руки самого господа бога. Впрочем, уже скоро в Крым прибыли назначенный на пост главнокомандующего генерал Михаил Горчаков, прежде стоявший во главе Южной армии, и его начальник штаба Павел Коцебу.

Осада Севастополя не была полной — неприятель обложил лишь южную его часть, а северная, отделённая бухтой, сохраняла связь с внешним миром, однако с учётом того, что ни пороху, ни снарядов, ни обмундирования толком не подвозили, это давало повод для шуток, что с севера город блокируется отечественным интендантством, которое разводило руками и ссылалось на отсутствие железных дорог, как бы нивелируя то преимущество, что мы сражались на своей земле.

Вид, открывавшийся взору вновь прибывавшего в Севастополь человека, был зарисован молодым писателем и артиллерийским офицером Львом Толстым в его рассказах, написанных на месте событий. Сначала казалось, что город живёт своей будничной жизнью, а о том, что где-то идёт война, напоминали только отголоски разрывающихся в отдалении снарядов. Даже про неприятеля говорили — «он», «у него», — как бы избегая называть вещи своими именами. А вот между собой переговариваются прогуливающиеся по бульвару офицеры из числа аристократии, составлявшие местное благородное общество:

— *А ведь странно подумать, что мы здесь в осаждённом городе: фортапласы, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.*

— *А как же наши пехотные офицеры, которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ, — как им-то?*

— *Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, cette belle bravoure de gentilhomme [этой прекрасной храбрости дворянина], — не может быть.*

— *Да они и не понимают этой храбрости.*

Светский мирок с его интригами, мелкими страстями и презрением к простым смертным существовал и тут, но главными участниками творившихся здесь событий являлись не его представители, а те самые «люди в грязном белье» на бастионах и в лазаретах.

«Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжёло раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас... Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благотворным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем её выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнёте в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнёте сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдёте на бастионы...

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?»»

Лазареты, перевязочные пункты и госпитали — хозяйство военного хирурга **Николая Пирогова**, которое он нашёл здесь безнадежно запущенным и всю войну пытался поставить медицинскую часть севастопольской армии на уровень современного развития науки. Основоположник отечественной школы военно-полевой хирургии, он первым из русских врачей стал применять эфирный наркоз, усовершенствованные бинтовые и гипсовые повязки, а также метод сортировки раненых, при котором в первую очередь на операционный стол попадали тяжёлые пациенты, в то время как поступившие без непосредственной угрозы для жизни получали первичную помощь и направлялись для дальнейшего лечения в тыловую госпиталь, а безнадежным предоставлялось паллиативное лечение, призванное облегчить страдания. Ему же принадлежит первенство в берегающей тактике операционного вмешательства: если обычным делом для тогдашних эскулапов была ампутация повреждённых конечностей, то гурзу нашей хирургии по возможности старался ставить солдата на ноги для последующего возвращения в строй. В Севастополе Пирогов трудился не покладая рук, но при этом опирался на помощь вверенной ему бригады **сестёр милосердия**. Инициатива направить на фронт две с половиной сотни добровольных санитарок принадлежала великой княгине Елене Павловне, слывшей сторонницей либеральных реформ и покровительницей искусств, — и это тоже было новым словом для военно-полевой медицины, хотя нечто подобное имелось и у англичан.

Несмотря на усилия наших медсестёр и хирургов, почти ежедневно в осаждённом городе от ран и болезней выбывали из строя сотни человек. Смерть стала настолько привычным явлением, что на корчащихся от безнадежных ран солдат и матросов никто не обращал внимания — и обычно офицеры, особенно армейские, просто проходили мимо. Одного из них окликнул кто-то из лежавших на земле, истекавших кровью нижних чинов:

— Ваше благородь... ваше благородие.. я не для себя... Скажите, адмирал Нахимов не убит?

— Нет.

— Ну, слава богу! Теперь могу помереть спокойно.

Самым опасным местом считался **четвёртый бастион**, вокруг которого ходило множество легенд.

«...вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвёртый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвёртом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: „Я иду на четвёртый бастион“, — непременно заметны в нём маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подиутить над кем-нибудь, говорят: „Тебя бы поставить на четвёртый бастион“; когда встречают носилки и спрашивают: „Откуда?“ — большей частью отвечают: „С четвёртого бастиона“. Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нём не были и которые убеждены, что четвёртый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдёт на него, и тех, которые живут на нём, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвёртый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т.д.»

Разгадка тайны заключалась в том, что четвёртый бастион был выдвинут далеко вперёд и открыт для обстрела сразу с трёх сторон, попадая под перекрёстный огонь англичан и французов, занимавших при этом господствующие высоты.

Потеря контр-апрошей (май-июнь 1855). Итак, с наступлением весны союзники заметно оживились, намереваясь-таки приступить к штурму русской твердыни. Войска осаждающих были усилены **25-тысячным французским и 15-тысячным сардинским корпусами**, сохранив численное превосходство. Русские военачальники видели, как большие океанские пароходы неприятеля «везли и везли новые дальнобойные мортиры, и огромные запасы

снарядов, и большие пополнения людьми». Как писал Сергеев-Ценский, «об этом говорили дезертиры и пленные, но об этом писали также весьма откровенно, не считаясь ни с какими военными тайнами, корреспонденты английских газет». С другой стороны, севастопольские защитники знали и то, «какие древние пушки выволакивались из хранилища адмиралтейства и ставились на бастионы взамен подбитых, но прозорливое высшее начальство требовало, чтобы из этих музейных старух палили умеренно не только потому, что они были почти безвредны для атакующих, но и по недостатку пороха и снарядов, что стало обычным».

Как уже было сказано, в начале апреля неприятельские войска возобновили артиллерийский обстрел Севастополя. В мае последовала **третья** по счёту **бомбардировка**, после которой противник предпринял наступление на передовые укрепления русских войск — **два редута (Селенгинский и Волинский) и один люнет (Камчатский)**. Не овладев контр-апрошами, нельзя было приблизиться к Малахову кургану, а без последнего — проникнуть в сам Севастополь. Как раз накануне состав передовых русских частей был ослаблен мудрым распоряжением Иосифа Жабокритского, старого ветерана, назначенного новым командованием на должность начальника обороны Корабельной стороны. Узнав о том, что неприятель готовит штурм, 60-летний генерал сказался больным, покинул позиции и, не сделав никаких распоряжений, бросил своих подопечных на произвол судьбы.

Устоять перед вражеским напором было трудно — французы двинулись на контр-апроши с трёх сторон, обладая десятикратным превосходством в живой силе, опрокинули поредевшие русские войска и оставили заветные редуты за собой.

В разгар боя на позиции прибежал Нахимов, блестя адмиральскими эполетами и демонстрируя присущую ему невиданную выдержку. Пожалуй, последние месяцы измученный и обескровленный гарнизон держался исключительно его примером. Как обычно, не обращая внимания на свистевшие мимо пули и осколки, он привстал на выступ банкета и высунул голову из укреплений. Казалось, что потопивший свои корабли флотоводец твёрдо решил умереть вместе с городом.

— Павел Степанович, ведь бесполезно ваше пребывание, всё, что можно сделать для защиты люнета, будет исполнено, — офицеры, пригибаясь к земле от грохота разорвавшегося неподалёку снаряда, умоляли его сойти со ступени брестера.

— Сойдите сами, если хотите. Я вас не держу.

Вражеская пуля пощадила Нахимова и в этот раз, но контузию адмирал получил. После падения редутов и люнета он вновь пытался ободрить войска:

— Нет-с, у нас тут нет уныния и быть не может. Я бы на месте главнокомандующего расстрелял того, кто приводит в уныние. А что они будут теперь бить наши корабли — пускай будут-с, не конфектами, не яблочками перебрасываемся. Вот меня сегодня самого чуть не убило осколком. Спины не могу разогнуть, да это ничего ещё, слава богу, не слёг.

Вскоре пришёл царский указ о назначении Нахимову аренды — фактически пожизненной пенсии за исключительные достижения.

— Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали! — воскликнул раздосадованный Павел Степанович. Возмущение было искренним — не имея семьи, которую ему заменяла корабельная команда, он всегда почти всё своё офицерское жалование «спускал» на помощь матросам.

А когда адмирал узнал, что Горчаков ведёт подготовку к эвакуации войск, его негодованию и вовсе не было предела.

— Видали вы подлость? Готовят мост через бухту! Ни живым, ни мёртвым отсюда я не выйду! Исполню мой долг и лягу здесь — могилу я себе уже выбрал.

Первый штурм (июнь 1855). В развитие успеха с захватом русских передовых укреплений противник наметил **генеральный штурм Севастополя**. Инициатива шла от Пелисье, который, тешась желанием порадовать императора, спешил взять город аккурат в годовщину

битвы при Ватерлоо. План такой. Французы берут бастионы Первый, Второй и Корниловский, последний — на Малаховом кургане, англичанам же отводилось овладеть Третьим бастионом. Затея была настолько дерзкая, что после совещания у главкома офицеры выбегали с бледными лицами:

— Теперь остаётся только дать себя убить. Позаботьтесь о моих детях!

После интенсивного, продолжавшегося почти сутки артобстрела, в ночь на 6/18 июня французы и англичане бросились на Малахов курган, но уже к семи утра, понеся тяжёлые потери — до десяти тысяч убитыми и ранеными — были вынуждены отступить. Земля за отступающими была вся покрыта трупами. Русские расстреливали их в упор. Эта неожиданная победа наших войск запечатлена на панораме Франца Рубо.

Оказалось, что за час до выступления Пелисье в одностороннем порядке изменил диспозицию боя, не посчитав нужным уведомить своего английского коллегу — фельдмаршала Фрицроя Раглана. Обиженный лорд ввёл британские войска в дело лишь тогда, когда стало ясно, что штурм не удался — и то лишь затем, чтобы избежать обвинений в провале операции. Впрочем, этого ему не удалось. Пелисье ожидаемо всех собак повесил на англичанина. От обиды престарелый полководец — ему было под восемьдесят — заболел и умер спустя неделю.

Произошедшее у стен севастопольских бастионов воспринималось в союзных столицах не иначе как катастрофа. На Даунинг-стрит царила растерянность. Тюильри стоял на ушах от гнева императора. В тоне венских дипломатов внезапно исчезла бывшая категоричность и уверенность.

Наш дипломат Фёдор Иванович Тютчев, цензор и поэт, чутко следивший за всеми политическими новостями, когда ознакомился со скудным на детали телеграфическим сообщением о первом поражении союзников, испытал двойные чувства.

— Получаешь истинное наслаждение, читая в их подлых газетах подробности этого разгрома, которые против их воли пробиваются наружу, сквозь всё недоговаривание и враньё. На сей раз столько было пролито крови, что она просачивается сквозь их лукавство, и, несмотря на все ухищрения редакции, ничего не удаётся скрыть, — говорил стихотворец, но тут же прибавлял: — Но ещё более поражаешься, наблюдая, как мы здесь поддерживаем их ложь и их утайки пошлым смирением наших бюллетеней и непостижимым старанием преуменьшить потери врага в наших донесениях. Так, например, в последнем бюллетене не решились сказать, что в этом деле они оставили в наших руках 1100 пленных, из коих 400 сдались без боя, точно так же, как не посмели сознаться, что по всем собранным сведениям неприятель потерял в общей сложности свыше 15 000 человек. А когда этих идиотов спрашивают о причине всей этой сдержанности, они вам говорят, что это для того, чтобы не раздражать общественного мнения. Так, например, на днях бедный Мальцов вообразил, будто ему будет дозволено в какой-то невинной статье для «*Journal de St-Petersbourg*» сказать, что англичане «ведут пиратскую войну у наших берегов». Представь, канцлер Нессельроде заставил его вычеркнуть это выражение, как слишком оскорбительное. И вот какие люди управляют судьбами России!

В свою очередь в Париже Луи-Наполеон испытывал крайнее раздражение самоуправством Пелисье, который оправдывался испорченным телеграфом и перекладывал вину за провал операции на англичан. Угрюмый император, сидя за столом в кабинете, продолжал читать бумаги, когда его лицо вдруг стало озаряться хитрой улыбкой. Французская разведка — через прусских агентов, имевших доступ в аристократические петербургские салоны — доносила, что русские держатся из последних сил. Мол, в царской армии нет пороха и снарядов, не хватает живой силы, в целом вся оборона построена на самоотверженном героизме солдат и офицеров, а в придворных кругах начинают шептаться о необходимости заключения мира, даже путём позорных уступок. Немецкие дипломаты подслушали эти разговоры на одном из многочисленных светских приёмов, где охочая до политических сплетен и новостей знатная публика мусолила последние слухи, не особо следя за языками. Конечно, ещё в Библии сказано,

что, мол, всё тайное рано или поздно становится явным, но в государственных делах не в меру длинные языки принято укорачивать, чтобы остальные держали их за зубами, а особо чувствительные вещи всё же хранить за семью печатями. Выходит, права была мадам Жермена де Сталь, в своё время слывшая центром оппозиции первому из Бонапартов, когда говорила, что в России всё тайна, но ничего не секрет.

Как выразился историк Евгений Тарле, в июне 1855 года прозвучало три удара «погребального колокола», предвещавшего оставление Севастополя. Первым стала потеря контр-апрошей, что приблизило противника к Малахову кургану, вторым — тяжёлое ранение Тотлебена, на котором держалось руководство фортификационными сооружениями, составлявшими основу нашей обороны, а третьим и самым роковым — гибель от шальной пули Нахимова, благодаря кому в войсках сохранялся высокий моральный дух. Павла Степановича похоронили, как он и хотел, рядом с его учителем — адмиралом Михаилом Лазаревым, а также соратниками Корниловым и Истоминным во Владимирском соборе — главном храме черноморского флота.

Чёрная речка (август 1855). Барон Павел Вревский, внебрачный сын одного знатного вельможи, офицер с боевым опытом и военный чиновник, близкий ко двору, любил писать записки. После тщательного анализа сложившегося в Крыму положения директор департамента пришёл к выводу, что Севастополь — это бездонная бочка, которая поглощает материальные и человеческие ресурсы. После затопления кораблей колыбель черноморского флота лишилась своего военно-стратегического значения, её сохранение теперь являлось скорее вопросом политического престижа. Сколько ещё продержится 75-тысячная русская армия перед 175-тысячным войском французов, англичан, турок и итальянцев, к которым, глядишь, присоединятся и австрийцы? Короче говоря, в одной из своих бумаг генерал стал внушать военному министру необходимость перехода осаждённых войск в наступление. Эта мысль легла на настроения императора, до которого стали доходить сведения о том, что англо-французы, зализав раны и оправившись от июньской катастрофы, готовят на август решающее наступление.

Александр II слабо верил в возможность победы и желал одного — поскорее выйти из войны. Горчаков уже давно плавно подводил его величество к мысли о том, что Севастополь придётся оставить, оправдываясь тяжёлым «наследством», доставшимся ему от Меншикова, а также большими потерями — к июню вражеские снаряды и пули выкашивали по 250 человек ежедневно. По его приказу инженеры уже готовили понтонный мост для эвакуации войск на Северную сторону, а после гибели Нахимова, который и слышать не хотел об оставлении города, вернее его Южной части, эти приготовления лишь ускорились. Однако после российской победы 6/18 июня момент для отступления был потерян. В дело вмешивалась большая политика, которая, как известно, выше стратегических соображений военных. Прежде всего, такой шаг был бы не понят в патриотической среде, да и если развить успех, можно надеяться на укрепление переговорных позиций. Поэтому царь стал требовать от главнокомандующего «решительных мер», а в помощь ему послал агитировавшего за наступление барона. Государь писал:

«Ежедневные потери неодолимого севастопольского гарнизона, всё более ослабляющие численность войск ваших, которые едва заменяются вновь прибывающими подкреплениями, приводят меня ещё более к убеждению о необходимости предпринять что-либо решительное, дабы положить конец сей ужасной бойне».

Другими словами, от Горчакова требовалось нечто в духе генерального сражения. Хозяин престола вроде бы и не приказывал, как бы отдавая решение на откуп главному, но отказаться от настойчивой рекомендации с самого верха тоже было нельзя. По подсказке императора Михаил Дмитриевич, не веря в успех затеваемого предприятия и желая размазать ответственность за его исход, собрал военный совет. В ходе «**совещания больших эполет**» против бессмысленной вылазки высказался только один человек — набожный комендант города Дмитрий

Остен-Сакен. Обычно вся его деятельность сводилась к ежедневным молитвам и ограничивалась стенами войсковой церквушки, но тут его прорвало. Правда, остальные присутствующие молча согласились с волей начальства.

— Сие наступательное движение — в видах государя императора, и притом необходимо для удовлетворения общего мнения России, — пояснял главнокомандующий.

Вопрос, который предстояло решить военачальникам, состоял лишь в определении направления главного удара. Сошлись на необходимости атаковать противника в районе Чёрной речки.

Как впоследствии пелось в шуточной солдатской песенке, в составлении которой поучаствовал начинающий писатель и молодой офицер Лев Толстой:

*Барон Вревский генерал
К Горчакову пристава,
Когда подшофе.
«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу».
Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-бек-Кок.
Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу.
Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить...*

Сражение на **Чёрной речке** представляло собой попытку штурма укреплённых противником Федюхиных высот. Оно было обречено, но тем не менее состоялось, сразу пойдя не по плану.

Рано утром 4/16 августа 1855 года 60-тысячная русская армия по особому сигналу должна была форсировать водную преграду в районе моста и смести 30-тысячный отряд неприятеля с господствующей высоты. Левым флангом командовал Павел Липранди, правым — Николай Ред. На часах — четыре утра, в помощниках — густой утренний туман. Суетливый Горчаков, переживая, что войска развёртываются слишком медленно, подозвал адъютанта, велел передать генералам, что «пора начинать».

— Главнокомандующий только что отдал приказ начать сражение, — доложил прибывший на место адъютант. Он прискакал в момент, когда русские пушки уже вели огонь по позициям французов и итальянцев. Соответственно, его слова были восприняты как то самое особое распоряжение.

— Я понимаю, это значит атаковать. Скажите князю, что я атакую и прошу прислать подкрепления, — повиновался Ред и тут же отдал соответствующие указания.

Удивлённый такой поспешностью начальник штаба генерал Пётр Веймарн возражал, доказывая, что наши войска ещё не выстроены в линию, а назначенный в поддержку пехоты кавалерийский полк и вовсе отсутствует.

— Я не могу ждать. Имею приказание от князя.

Один из ординарцев, наблюдая за тем, как русские части устремились в узкое горлышко переправы через реку, расспрашивал Веймарна:

— В чём смысл этот безнадёжной затеи?

— Нужно отвлечь противника от Севастополя, на время, пока не готов мост через Севастопольскую бухту, — неуверенно отвечал генерал и, поразмыслив, добавлял: — Правда, даже в случае успеха, если мы овладеем высотами, то к ночи всё-таки должны будем отступить.

Итоги сражения были неутешительны. Наступавшие войска потеряли не менее двух тысяч убитыми, ещё тысяч восемь ранеными, после чего, не причинив противнику почти никакого значимого ущерба, отступили.

*Как четвёртого числа
Нас нелёгкая несла
Горы отбирать.
Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду.
Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю...»
Вдруг Реад возьми да спрости
И повёл нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру».
Веймарн плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал.
«Нет, уж пусть идут».
На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки!..
Наше войско небольшое,
А француза было втрое,
И сикурсу тьма.
Ждали — выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал.
А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице.
И пришлось нам отступать,
Раз... же ихню мать,
Кто туда водил.*

Николай Реад был кадровым военным с большим опытом и некоторыми заслугами, боевую карьеру начал ещё в войну с французами, дрался против мятежных поляков, венгров и горцев. Бой на Чёрной речке стал его последним сражением. Поскольку мёртвые сраму не имут, а самое главное — уже не могут никому ответить, главнокомандующий, изначально выступавший против этого выступления, но не нашедший, по собственному его признанию, мужества перечить пожеланиям царя, вину за поражение повесил на убитого генерала. Мол, тот атаковал без приказа, чем и запорол гениальную диспозицию начальства. Звучало неубедительно. Престарелый фельдмаршал Иван Паскевич, два десятка лет простоявший над князем, после ознакомления с отчётом о баталии сокрушался:

— Он пошёл напролом, по-русски на-авось атаковать позицию, которая, как он сам говорит, сильнее севастопольских укреплений. Вывод печальный. Сражение принято без цели, без

расчёта и без надобности и, что хуже всего, окончательно лишило нас возможности предпринять что-либо впоследствии.

Генеральный штурм (август-сентябрь 1855). Уже на следующий день, 5/17 августа, неприятель повёл новую — **шестую** — **бомбардировку**, не прекращавшуюся три недели. Осаждённый и обескровленный город пылал. Огонь не успевали тушить, бастионы — восстанавливать, а раненых — отвозить в лазареты. Потери в эти дни достигали двух тысяч человек в сутки. Наконец, 27 августа (8 сентября) последовал очередной **штурм Севастополя**. Дата — не Ватерлоо, но почти годовщина Бородина. Шесть приступов были отбиты. Французам удалось захватить только Малахов курган, ту самую Зелёную сопку. Осторожное командование, получив сведения, что русские собираются взорвать Корниловский бастион, велело отступить с занятой высоты, однако «виновник успеха», командир дивизии Патрис де Мак-Магён, как гласит легенда, наотрез отказался выполнять директиву начальства:

— J'y suis, j'y reste. Здесь стою, здесь останусь — так и передайте вашему генералу.

Эвакуация. За пять часов сражения, принёсшего Пелисье звание маршала, с каждой стороны было потеряно по десять тысяч человек. В разгар боя Горчаков принял решение **оставить Севастополь** — вернее его Южную сторону, превращённую в дымящиеся руины. Получив приказ, разгорячённые весьма успешным боем матросы отказывались верить свои ушам.

— Как это? Нам нельзя уходить, мы никакого распоряжения не получали. Армейские могут уходить, а у нас своё, морское начальство, мы от него не получали приказания, — рассуждали они. — Да как же это Севастополь оставить? Разве это можно? Ведь штурм везде отбит. Только на Малахове остались французы, да и оттуда их завтра прогонят; а мы здесь на своём посту!

— Ну, и сидите тут, пока неприятель заберёт вас, ведь говорят вам, что Севастополь очищают.

— То есть, это значит — отдают неприятелю. Об этом мы не слыхали. Армейское начальство этого не может разрешить, потому что у нас здесь всё морское, доки, магазины, мало ли ещё чего. Мы здесь должны помирать, а не уходить. Что же об нас в России скажут?

Всю ночь войска переходили по наведённому через Севастопольскую бухту понтонному мосту на Северную сторону. Шли молча. Тишину нарушал только грохот рвущихся пороховых погребов.

Одним из последних уходил главнокомандующий — ему подали катер. Спустившись по ступенькам на пристань, он задрал голову вверх и посмотрел на ясное ночное небо.

— Je vois mon étoile de malheur, — сказал князь по-французски, не желая, чтобы его поняли матросы. Он говорил, что видит свою несчастную звезду. — Ужасно, генерал, ужасно! — восклицал главноком, хватая за руку своего начальника штаба.

Неприятель, опасаясь, что город заминирован, зашёл в него лишь через сутки — но делать там было нечего: «победителя» встречали горящие развалины.

Русская оборона держалась 349 дней. 11 месяцев под огнём бомб и снарядов. Каждый месяц службы в осаждённом Севастополе засчитывался за год — согласно указу покойного государя. За это время наши войска потеряли убитыми и умершими от болезней почти сто тысяч человек, англо-французы — чуть меньше.

«Вы ясно поймёте, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжёлые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...» — говорил Лев Толстой в своих рассказах, писанных непосредственно на месте событий и опубликованных в журнале «Современник». А советский писатель Сергей Сергеев-Ценский, посвятивший этой войне монументальный роман-эпопею, напишет спустя восемь десятилетий:

«Это были подвиги народа, а не отдельных людей, того народа, который неторопливо, исподволь хозяйственно занял на планете Земля столько удобных и неудобных просторов, сколько вошло в естественные границы от Белого моря до Чёрного и Каспия, от Балтийского до Тихого океана, так, чтобы хватило этих просторов не только для праправнуков, но и для праправнуков праправнуков тоже. Севастополь со всеми его бастионами был не больше, как точка в этой неизмеримости, но какая точка зато!»

Важно понимать, что с падением Севастополя война не закончилась. Русские войска — как и армии противника — остались на полуострове. Однако фактически, не считая мелких вылазок неприятеля, в боевых действиях наступило затишье.

Александр II, для которого падение «священного города» (так с греческого переводится название «Севастополь») стало неприятным «подарком» ко дню его именин 18/30 августа, трагические известия воспринял с христианским смирением и остальных призывал покориться воле Всевышнего:

— Не унывайте, а вспомните 1812-й год и уповайте на Бога. Севастополь не Москва, а Крым не Россия. Два года после пожара московского победоносные войска наши были в Париже. Мы те же русские, — бодрился самодержец.

Спустя несколько недель, в конце сентября, он уже был в Николаеве, побывал в ставке русских войск в Крыму и даже посетил Северную сторону Севастополя.

В ноябре на закавказском театре была **взята турецкая крепость Карс** — как бы компенсируя потерю Севастополя, в будущем она послужит своего рода разменной монетой для усиления переговорных позиций. Переговоров пока не было — венская конференция послов, на которой никто и не собирался договариваться по-настоящему, умерла сама собой с началом весенне-летней кампании. Однако с наступлением осени из австрийской столицы наш посол Александр Горчаков сообщал, что французы проявляют заинтересованность в наведении дипломатических мостов. На этот раз всерьёз.

Конец войне? Дело в том, что хотя Франция и играла в этом конфликте первую скрипку, но дирижировали оркестром с берегов Темзы. Со взятием же Севастополя Луи-Наполеон достиг своего — некогда существовавшая антифранцузская коалиция расколота, взят реванш перед русскими за великого дядю, а воевать дальше — значит усиливать позиции англичан. Однако ссориться с островитянами тоже не с руки, поэтому сближение с Петербургом должно идти исподволь и скрытно от чужих глаз. В общем, в ход пошла тайная дипломатия. Граф **Шарль Морни**, брат императора французов, через доверенных парижских и венских банкиров довёл до российского дипломата в качестве своего «личного мнения» мысль о том, что неплохо бы заключить мир между Францией и Россией — ведь в интересах двух стран по большому счёту нет никаких серьёзных противоречий. А если так, то из-за чего они воюют? Неформальные контакты по линии Морни — Горчаков набирали обороты, пока из Петербурга не пришла инструкция эту самодеятельность прекратить. Ларчик открывался просто: министр иностранных дел Карл Нессельроде решил взять инициативу в свои руки и через зятя, женатого на его дочери барона Лео фон Зеебаха, который служил саксонским послом при французском дворе, установил контакт с главой тамошней дипломатии — **Александром Валуевским**. Граф был внебрачным сыном Наполеона от одной варшавской графини, в молодости участвовал в польском восстании, после неудачи которого находился на французской дипломатической службе. Его главная заслуга состояла в том, что он добился от британцев признания Луи-Наполеона императором. Валуевский был при парижском дворе фигурой тоже влиятельной, но с меньшим политическим весом, чем Морни. Как бы то ни было, в конце концов об этих негласных, происходивших за спиной у англичан сепаратных **франко-русских контактах** стало известно в Вене, на которую всю свою карьеру (вот уже сорок лет) ориентировался и буквально молился российский мининдел. Очевидно, что утечка произошла то ли по чьей-то глупости, то ли кто-то намеренно слил эту информацию в своих целях. Доподлинно

неизвестно. Как бы то ни было, российско-французское сближение не на шутку встревожило австрийцев и заставило их пойти на крайний шаг. В конце декабря 1855-го — начале января 1856 года Петербургу был предъявлен **ультиматум**: Россия должна принять «**пять пунктов**», на основе которых начнутся мирные переговоры. В случае отказа Австрия вступает в войну.

Для выработки решения Александр II собрал **совещание в Зимнем дворце**, которое состоялось 20 декабря (1 января 1856 года). Тон задавал министр иностранных дел Карл Нессельроде, ему вторили военный министр Василий Долгоруков, министр государственных имуществ Павел Киселёв, шеф жандармов Алексей Орлов, бывший кавказский наместник Михаил Воронцов, фактически вышедший в отставку за старость лет, но формально состоявший при особе государя, а также брат императора великий князь Константин Николаевич.

— Ваше величество, — докладывали вельможи, — силы на военном театре неравны. Усиливается недостаток оружия и запасов. Нейтральные государства склоняются на сторону наших противников. Шаткое положение складывается в наших внутренних областях, недавно присоединённых и ещё не успевших полностью интегрироваться в государство. Финляндия тяготеет к Швеции, Польша восстанет как один человек, как только военные действия союзников дадут ей такую возможность. В народе ходят слухи, что французы и англичане хотят объявить вольность. Лучше пожертвовать немногим.

Почти все сановники — можно сказать, глыбы николаевского царствования — высказывались однозначно против продолжения войны. Оппонировал только Дмитрий Блудов, который под влиянием своей дочери Антонины, придворной славянофилки, категорически выступил против уступок супостатам. Сошлись на том, чтобы принять ультиматум частично, отбросив размытый пятый пункт, подписаться под которым означало дать карт-бланш на любые претензии в свой адрес. Когда в Вене Александр Горчаков попытался вручить этот ответ Буолю, тот даже слушать не стал: мол, условия должны быть приняты безоговорочно. На второе заседание в Зимнем дополнительно пригласили барона Петра Мейендорфа. Бывший николаевский посол в Пруссии и Австрии — в общей сложности провёл в двух немецких столицах полтора десятка лет, женился на сестре австрийского канцлера Карла Буоля и приобрёл славу тонкого знатока габсбургской политики, а при новом царе был назначен в члены Госсовета. Его голос не выбивался из общей тональности мнений, а лишь подкреплял уже сделанные выводы: дальнейшее продолжение войны неминуемо ухудшит положение. Внутренних резервов для победоносного её окончания нет, более того, нельзя исключать, что разорённый народ начнёт хвататься за вилы и пускать помещикам красных петухов. Ситуация на внешнеполитическом контуре тоже не предвещает ничего хорошего — прояви мы какую-нибудь слабость на поле боя, непременно столкнёмся с расширением неприятельской коалиции за счёт шведов и пруссаков. Наконец, в случае поражения условия, на которых всё-таки будет заключаться мир, окажутся жёстче, чем предлагаемые сейчас. Формула вырисовывалась такая: мир похабный, но и война — безнадёжная.

— Что ж, не умели вести войну, нужно заключить мир, — вынужден был согласиться с общим хором голосов Блудов.

Реакция общества (январь 1856). Патриоты из числа придворных и общественных кругов, в среде которых бал правили славянофилы, негодовали. «Драться надо, драться до последней капли крови», — призывали они. Для них целью войны было освобождение славянского мира из-под турецкого и австрийского ига, его объединение под скипетром русского царя и водружение православного креста над Святой Софией. Разумеется, Константинополь — Царьград — и проливы должны отойти Петербургу. А тут оказывалось: мало того, что ни одной из этих фантазий не суждено сбыться, так ещё нужно распрощаться с русским влиянием на Балканах.

В середине января в театре давали «Дмитрия Донского» — знаменитую, александровских времён патриотическую пьесу Владислава Озерова.

— Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный! Так предки мыслили, так мыслить будем мы, — донесли со сцены слова актёра и... потонули в грохоте оваций. Зал разразился громом рукоплесканий.

Шеф жандармов Алексей Орлов грозился арестовать вожаков театральной выходки, но его осадил Александр Николаевич:

— За что бы вы их, граф, арестовали? Разве только за то, что они пошли в театр в такое тяжёлое время?

Князь Михаил Семёнович Воронцов действовал хитрее. Он принялся писать ходившие по рукам письма, в которых агитировал в пользу принятого государственным ареопагом решения. Сергей Аксаков, отец славянофильского семейства и хозяин главного литературного салона старой столицы, сетовал в разговоре с сыном:

— По Москве ходят письма князя Воронцова, который с чего-то вообразил, что он пользуется авторитетом в России, и особенно в Москве. Он поучает нас, как мы должны радоваться миру, и всех, недовольных им, заранее клеймит именем преступных глупцов. А всё потому, что продолжение войны угрожало их карману и в России и в Англии, родственной им по деньгам, духу и крови. Но чёрт с ними.

Зато приободрились либеральные салоны и высшие слои петербургской знати.

— Поздравляю вас, графиня, весной вы будете в Париже? — говорил с радостным видом князь Долгорукий на светском рауте у императрицы.

— Поздравим друг друга, мы поедем в этом году к вам есть макароны, — обращался к одному итальянскому артисту министр иностранных дел Карл Нессельроде.

Фрейлина Анна Тютчева, дочь дипломата и поэта, полагая, что государя обманули, пыталась повлиять через его супругу — императрицу Марию Александровну.

— Почему люди, — вопрошала придворная славянофилка, — которые отстаивали этот мир, вместо того чтобы испытывать стыд и унижение от позора страны, принимают торжествующий и сияющий вид, как будто они одержали над ней победу?

— Наше несчастье в том, — со вздохом отвечала императрица, — что мы не можем сказать стране, что эта война была начата нелепым образом, благодаря бестактному и незаконному поступку, — занятию княжеств, что война велась дурно, что страна не была к ней подготовлена, что не было ни оружия, ни снарядов, что все отрасли администрации плохо организованы, что наши финансы истощены, что наша политика уже давно была на ложном пути и что всё это привело нас к тому положению, в котором мы теперь находимся. Мы ничего не можем сказать, мы можем только молчать...

Парижский конгресс (февраль-март 1856). В общем, ультиматум был принят. С одним условием — мирные переговоры должны состояться не в Вене, а в **Париже**.

Во главе российской делегации Александр II поставил одного из самых видных сановников николаевского царствования, шефа жандармов **Алексея Орлова**, а ему в помощники назначил русского посла в Англии — барона Филиппа Бруннова, который в бытность нынешнего царя наследником престола преподавал его высочеству азы внешней политики, а затем вёл переговоры о женитьбе великого князя на гессенской принцессе. Во-первых, граф Орлов был давним сторонником сближения с Францией, в отличие от министра иностранных дел Нессельроде, для которого существовала только Австрия — даже после её «коварной неблагодарности». Во-вторых, у его сиятельства за плечами имелся опыт деликатных дипломатических поручений, которые он обделывал с изрядной ловкостью. Наконец, двадцать пять лет назад двум этим вельможам уже приходилось работать в одной связке при заключении международного трактата. Впрочем, теперь всю черновую работу граф взвалил на плечи напарника, а сам предпочитал блистать в роли «светского льва».

В день заселения российского посольства в гостиницу дверь комнаты, где расположилась «золотая молодёжь» из орловской свиты, задребезжала от неистового стука — это был чем-то встревоженный метрдотель.

— Mon Dieu, messieurs, quel malheur, le comte est devenu fou, — закричал француз. Он говорил: «О боже! Господа, какое несчастье, граф сошёл с ума!»

Оказалось, что служащий отеля прибежал из номера Алексея Фёдоровича, которого он застал «в какой-то странной позе, с канделябрами в руках и выделяющим необыкновенные движения». Пётр Альбединский, молодой полковник и подающий надежды флигель-адъютант императора, поспешил проверить, в чём дело. Войдя в комнату к Орлову, он действительно увидел перед собой изумительную картину: с одной стороны — граф, с другой — его камердинер. Вооружившись подсвечниками, хозяин и его слуга «наступали друг на друга, как будто для смертного боя».

— А, это ты, — равнодушно посмотрел глава делегации на вошедшего адъютанта и пояснил: — Ты нас застаёшь за нашею обыкновенною игрой.

— Какая же это игра?

— Посмотри, пожалуй, можно начать снова.

«При этом, — утверждал мемуарист, — Орлов садится на диван, камердинер вертится вокруг него, тыкает его пальцем в бок, в спину; вдруг Орлов вскакивает, оба хватают канделябры и целую четверть часа фехтуют ими с исступлением, затем камердинер бросается на колени и жалобным голосом просит пощады».

— Мы вот так с ним часто забавляемся, — сказал граф, — для моциона хорошо, к тому же и развлечение.

Что поделать — барская прихоть. Большому вельможе иной раз не зазорно и почудачить, потому как мнение нижестоящих в социальной иерархии для него равным счётом ничего не значит. Но когда доходило до дела, Алексей Фёдорович сразу становился тонким и прозорливым политиком, чутко улавливая все нюансы развития ситуации, что и проявилось, когда Альбединский доложил ему о просьбе вдовствующей императрицы: перед отъездом на конгресс Александра Фёдоровна вручила ему письмо для передачи княгине Ливен. Дарья Христофоровна — вдова бывшего российского посла в Лондоне и родная сестра графа Бенкендорфа, грозного шефа жандармов и предшественника Орлова на этом посту. В Париже она доживала старость и уже долгие годы держала модный политический салон, служивший местом сборищ для антинаполеоновской оппозиции. Во время войны эта влиятельная гостиняя прямо служила российским интересам, а теперь, когда французы брали на себя роль главных миротворцев, её существование становилось неудобным, грозя возможными политическими осложнениями. В общем, превратилась в ненужный раздражитель на пути франко-русского сближения. Понимая это, эмиссар царя оборвал своего помощника на полуслове и строго-настрого приказал:

— Сам я к ней не поеду и запрещаю появляться у неё всем членам посольства. Что касается письма, узнай, когда её не бывает дома, и отвези в это время.

Разумеется, великосветская старушка, через чьи руки когда-то проходили невидимые нити больших политических интриг и дипломатических тайн, возмутилась: неслыханное нарушение всех мыслимых приличий. Весточки от царствующих особ с лакеями — как это сделал от греха подальше Альбединский — не доставляют. Дело могло принять дурной оборот. Всё-таки дама с большими связями. Того и гляди — пожалуется в Петербург. Намёк на это содержался в переданной от княгини записке, которую Альбединский и показал Орлову.

— Устраивайся с этою сумасбродной бабой как хочешь, — ответил ему граф, — только оставь меня в покое.

Алексея Фёдоровича ждали великие дела. В первые же дни своего пребывания в Париже Орлов был принят в **Тюильри** — роскошном королевском дворце на набережной Сены. Его

рандеву с Луи-Наполеоном, включавшее протокольную часть и беседу тет-а-тет, предрешило исход ещё не открывшегося конгресса.

— Вы знаете, что империя — это мир, — приветствовал француз посланника русского монарха. — Лично я желаю только мира. После его подписания нам следовало бы установить личные, более интимные отношения на уровне государей.

— Сир, со своей стороны могу заверить, что его величество Александр II хочет справедливого и прочного мира и стремится укрепить симпатии, возникшие между Россией и Францией, — отвечал граф.

— Передайте в Петербург, что это — и моё желание.

Обменявшись любезностями, собеседники перешли к существу.

— Ваше величество, буду честен, — начинал Орлов. — Отбросив в сторону всякие хитрости и дипломатические извороты, могу прямо сказать, на что мы согласимся и что вынуждены отвергнуть. Мы не возражаем против того, что Дунай будет свободен для плавания торговых судов любых наций. Чёрное море будет объявлено нейтральным — там не будет ни российских, ни турецких, ни каких-либо других военных кораблей, проход которых через проливы будет запрещён. Что касается границ между Молдавией и Бессарабией, полагаем, что этот вопрос можно было бы вынести на отдельное рассмотрение; притом обращаю внимание вашего величества, что российские войска занимают часть турецкой территории, включая Карс.

Последнее было сказано в качестве намёка на размен взаимных уступок: мол, мы возвращаем крепость османам, но оставляем за собой все бессарабские владения. Однако сочувствия этот заход не встретил: войска союзников тоже продолжали находиться в Севастополе, делая город предметом торга.

— А согласились бы вы не возобновлять постройки Бомарсунда? — спросил император про укрепления на Аландских островах. Этот небольшой балтийский архипелаг, расположенный в море между Швецией и Финляндией, запирает вход в Ботнический залив и создавал постоянную угрозу спокойствию Стокгольма. Во время войны главная крепость островов была взята штурмом и оказалась в руках союзников, которые теперь добивались демилитаризации данной территории.

— Я знаю, что ваше величество придаёт важность этому пункту. Поэтому я не колеблясь заявляю, что мой августейший государь не выдвинет в этом деле никаких препятствий.

Следующий вопрос монарха застал русского уполномоченного врасплох.

— Хотелось бы знать ваши соображения относительно венских соглашений 1815 года, — повёл Наполеон III речь о злополучном трактате, запрещавшем Бонапартам восседать на французском престоле. — Обстоятельства с тех пор существенно изменились. Что думают в Петербурге о пересмотре договора?

— Этот сюжет затрагивает интересы всех европейских держав, поэтому могу высказать лишь моё личное мнение, — ушёл от ответа граф: полученные им перед отъездом инструкции ничего не говорили на этот счёт.

— Но ведь это простой разговор! — махнул рукой француз, затем и ввязавшийся в эту войну, чтобы положить конец разговорам об узурпации власти. Он был уверен — итоги конгресса станут новой точкой отсчёта в системе координат международных отношений.

Следующим пунктом затронули Италию. Наполеон хотел подарить Ломбардию и Венецию, находившиеся под управлением Австрии, сардинско-пьемонтскому королю Виктору-Эммануилу, вокруг которого начинала объединяться Италия, и даже пригласил для участия в форуме итальянского представителя. России до этого большого дела нет, но лишний раз уколоть неблагодарных австрияков было бы отрадно. Дело шло и к тому, что два Дунайских княжества, Молдавия и Валахия, должны объединиться в единое государство — Румынию. Это была бы вторая шпилька в сторону Австрии. Для Франции этот вопрос не имел принципиального значения, зато России было жизненно важно скомпенсировать утрату влияния на

Дунае. Пускай нам придётся оттуда уйти, но и усиления австрийских позиций мы не допустим. Разговор шёл как по маслу, но внезапно соскользнул на Польшу.

— Там нарушаются права католиков, — жаловался император, на штыках которого, к слову, с некоторых пор держалась светская власть папы римского.

— Не могу поручиться за немцев, которые всячески притесняют поляков, а у нас они пользуются свободой вероисповедания, — дипломатически сглаживал углы царский эмиссар, в то же время чётко очерчивая российские интересы.

Француз не настаивал — ему важно было «отработать», просто «проговорить» обязательный пункт, чтобы потом было чем прикрыться перед многочисленной польской эмиграцией, уже давно облюбовавшей Париж. Конечно, его любимая супруга, дочь воевавшего на стороне французов испанского гранда Евгения Монтихо, ярая католичка, любившая вмешиваться в проводимую государем политику, могла закатить скандал, но в это время ей было не до того — её величество вовсю готовилась произвести на свет долгожданного наследника престола.

В заключение император предложил Орлову «в трудных случаях» обращаться напрямую к нему.

— Я дал Валуевскому все необходимые инструкции. На публике он будет сохранять приверженность нашему союзу с англичанами — это не должно вас пугать. Не обращайтесь к нему и продолжайте гнуть свою линию. Вместе с тем, если возникнут какие-либо затруднения, помните, что двери моего дворца для вас всегда открыты.

О праве на покровительство турецким подданным султана, по поводу которых было сказано столько копий, никто и не упомянул.

На встрече с главой французского МИД графом Валуевским, чьё ведомство недавно переехало на левый берег, в здание на **Кэ д'Орсе**, граф Орлов узнал подробности того, что скрывается под таинственным пятым пунктом.

— Граф Кларендон, представляющий на конгрессе Англию, намерен поставить под вопрос все русские территориальные владения по ту сторону Кубани. По мысли островитян, эти земли должны получить независимость или перейти в турецкое владение. Не беспокойтесь! Император отказался помогать англичанам в этом домогательстве, — спешил успокоить собеседника министр, видя, как меняется выражение лица его гостя.

Вообще-то англичане хотели продолжать войну. Итоги двух предыдущих кампаний, 1854 и 1855 годов, ничего путного не принесли, по крайней мере не позволяли предъявлять жёсткие требования, а потому расчёт был на то, что новый 1856 год даст более осязаемые результаты, отталкиваясь от которых уже можно будет вести серьёзный разговор. Золотое правило дипломатии: если нет весомых аргументов, добавляющих веса вашей позиции, такого козыря, который в нужный момент можно вынуть из рукава, или рычага, позволяющего надавить на болевую точку, то нечего и садиться за стол. Чем будете крыть заходы оппонентов? Однако французы, как уже было сказано, решили, что своего достигли, а без них британцы вести сухопутную кампанию не могли. Кто платит за банкет, тот и заказывает музыку. Теперь надежда была разве что на злополучный пятый пункт, который английская делегация во главе с министром иностранных дел Джорджем Вильерсом, он же — граф Кларендон, намеревалась продвигать в связке с австрийцами, которых представлял канцлер Карл Буоль.

В свою очередь Наполеон III, сохраняя формальную солидарность с союзником, на деле обещал оказать максимально возможную поддержку российской стороне: усиление Англии в его планы не входило. Кроме того, он уже наметил удар по Австрии за счёт Италии, а также Румынии, для чего требовалось согласие с Россией. Тем более что по существу расхождения в интересах между Парижем и Петербургом отсутствовали.

Таким образом получалось, что работа конгресса должна была вращаться вокруг двух соперничающих центров тяжести — партии **франко-русской** и **англо-австрийской**.

По ходу мероприятия русский представитель не раз приглашался французским государем в свою резиденцию. После обеда они в кабинете императора, рассевшись в мягких креслах, с глазу на глаз подолгу дымили сигарами. Об этих походах Орлова в Тюильри было известно всем, в том числе англичанам. Их настрой менялся в пользу всё меньшего сопротивления складывающимся обстоятельствам по мере того, как становилось ясно, что, во-первых, французы окончательно выходят из войны, а во-вторых, что британский парламент согласен поумерить свои аппетиты и не грозит премьер-министру отставкой. Одни австрийцы не могли взять в толк, зачем на конгресс пригласили итальянцев.

Основная борьба развернулась вокруг **Дунайских княжеств**, поскольку на этот вопрос был завязан целый ряд других комбинаций. Дело в том, что Австрия издавна владела Трансильванией, — венгерско-румынским «залесьем», расположенным на равнине перед юго-западными склонами Карпат, — и надеялась проглотить также Валахию и Молдавию, где уже стояли оккупационные австрийские войска. Их туда пустили во время войны сразу после ухода русской армии. Впрочем, рассчитывать, что австрийцам отдадут эти провинции целиком, не приходилось: уже на первом заседании конгресса было принято решение о выводе иностранных войск. Поэтому Вена имела в виду интегрировать эти территории отдельными кусками, а значит выступала против их объединения. Далее — **устье Дуная**. До недавних пор оно находилось в руках России. Дунай, несущий свои воды через Вену, Братиславу, Будапешт и впадающий в Чёрное море, в идеале для габсбургской монархии должен был стать внутренним австрийским водоёмом. Это важная торговая артерия. Ещё до конгресса было решено, что дунайское устье у русских заберут — вместе с правом иметь черноморский флот. Ещё дальше, между Дунаем и Прутом, протекает **Бессарабия** (сегодняшняя Молдова), тоже часть Российской империи. Поскольку Дунайские княжества в то время были отрезаны от выхода к морю, на перспективу нужно было обеспечить им этот выход, а сделать это можно было, выкроив небольшой прибрежный коридор за счёт бессарабских владений России. Австрийцев в этом устремлении поддерживали англичане, в свою очередь рассчитывавшие заручиться австрийской поддержкой при отделении от России территорий на Кавказе. Однако, как мы помним, решающее слово оставалось за французскими хозяевами конгресса. Опираясь на закулисные договорённости, Алексей Орлов так твёрдо стоял на своём, что спровоцировал гнев Карла Буоля, возглавлявшего австрийскую делегацию.

— Вы забываете, что Россия побеждена! — вскричал потерявший самообладание канцлер.

— России не мудрено это забыть, потому что она не привыкла быть побеждённой. Другое дело вы, так как вас всегда все били, с кем только вы ни воевали.

Впрочем, отстоять целостность Бессарабии не удалось. Карс пришлось разменять на Севастополь. Наполеон III полагал, что с Петербурга хватит того, что он сохранит за собой Кавказ.

Под занавес мероприятия в зал заседаний пустили пруссаков, чтобы те поставили подпись под новой конвенцией о проливах. Это был ещё один булавочный укол англо-австрийской связке, которая категорически протестовала. А в самом конце слово дали итальянскому делегату — премьер-министру **Камилло Кавуру**, который стал что-то говорить про Ломбардию и Венецию и австрийское присутствие в Северной Италии. Только тут Буоля осенило. Орлов, наблюдая за выражением лица австрийца, лишь усмехался. Габсбурги не только не получили Дунайских княжеств, но и, исполнив почётную функцию затычки в антирусской коалиции, были поставлены перед перспективой потери итальянских провинций. Впрочем, сами винуваты, ведь французы им никогда ничего и не обещали, они лишь молчали, улыбались и кивали головой, когда австрийцы заговаривали о своих экспансионистских амбициях. Как говорится, если мотив не положен на ноты...

Согласно условиям подписанного в марте 1856 года **Парижского мира** Россия: лишалась Южной Бессарабии* (коридор Кагул — Измаил — Болград, обеспечивающий Дунайским княжествам выход к морю), дельты Дуная и острова Змеиный (Фидониси); теряла влияние над Молдавией и Валахией, а также Сербией, но и не отдавала их австрийцам; и возвращала занятые русской армией турецкие крепости Карс, Баязет и Ардаган, получая обратно захваченный неприятелем Севастополь. И самое главное — нейтрализация Чёрного моря. Россия утрачивала право держать там военно-морской флот, крепости и арсеналы. Соответственно, проход военных кораблей всех прочих держав через турецкие проливы также оказывался под запретом — в мирное время.

* Будет возвращена уже в 1878 году.

— Никак нельзя сообразить, ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побеждённый, — недоумевали в кулуарах европейские дипломаты.

Общее мнение было таково: русские очень легко отделались. Особенно ясно это читалось по физиономиям британских политиков, которые испытывали крайнее недовольство. Главным победителем выходил император французов — он похоронил ненавистную его династии Венскую систему, которая так сильно ущемляла самолюбие французских монархов.

Петербург встретил весть о заключении мира пушечными залпами с Петропавловской крепости и благодарственными молебнами в храмах и церквушках. Граф Алексей Орлов был принят Александром II как триумфатор. Да, подписанный им трактат — весьма похабный, но ведь могло оказаться куда как хуже. За свои заслуги бывший шеф жандармов получил титул князя и место председателя Государственного совета и Комитета министров (1857—61).

Пусть нерадостна песня, что вам я пою,

Да не хуже той песни победы,

Что певали отцы в Бородинском бою,

Что певали в Очакове деды,

— напишет потом поэт Алексей Апухтин.

Александр II, чья мать была немецкой принцессой, любил дядюшку Вильгельма, который ещё не был королём, но уже держал в своих руках вожжи прусской политики, а глава российской дипломатии Карл Нессельроде, занимавший этот пост уже сорок лет, в любых условиях ориентировался на Вену. Однако в Париже дипломаты великих держав не просто подписали очередной договор, а подвели черту под Венской системой, которая уступила место новому периоду международных отношений, весьма краткосрочному и турбулентному, известному под названием системы Крымской. Священного союза больше не существовало, ушла в прошлое и политика легитимизма, в основе которой лежала христианская солидарность между монархиями, стремившимися не допустить революций, конституций и республик. Впредь российская дипломатия должна была руководствоваться лишь национальными интересами, а австрийский престол ещё долгие годы будет вызывать у обитателей Зимнего дворца стойкую политическую аллергию. Главной задачей отечественной внешней политики становилась борьба за пересмотр унижительных статей Парижского мира и создание условий для внутреннего восстановления и развития страны, которой сейчас требовалась передышка. Добиваться этих целей предстояло новому министру иностранных дел — князю **Александру Михайловичу Горчакову**. Одним из первых его актов стала рассылка циркулярной депеши, содержание которой российские посольства должны были довести до европейских столиц. «*Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонизируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, она сосредотачивается*», — утверждалось в телеграмме. *La Russie ne boude pas; elle se recueille.*

ГЛАВА 2. Россия сосредотачивается. Оттепель и гласность (незабвенный 1856-й)

По мере того, как шло время, затягивались старые раны — с началом нового царствования народ и общество, как водится, надеялись на перемены к лучшему, а с окончанием войны страна всё больше стала размышлять, как жить дальше. Пожалуй, лучше всех подвёл черту под старым периодом общественного бытия поэт Николай Некрасов, отразивший тему прошедшей войны в стихотворении «Тишина»:

*Всё рождь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
...Пора! За рожью колосистой
Леса сплошные начались,
И сосен аромат смолистый
До нас доходит... «Берегись!»
...Прибитая к земле слезами
Рекрутских жён и матерей,
Пыль не стоит уже столбами
Над бедной родиной моей.
...Свершилось! Мёртвые отпеты,
Живые прекратили плач,
Окровавленные ланцеты
Отчистил утомлённый врач.
Военный поп, сложив ладони,
Творит молитву небесам.
И севастопольские кони
Пасутся мирно... Слава вам!
Вы были там, где смерть летает,
Вы были в сечах роковых
И, как вдовец жёну меняет,
Меняли всадников лихих.
...Война молчит — и жертв не просит,
Народ, стекаясь к алтарям,
Хвалу усердную возносит
Смирившим громы небесам.
Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!
Молчит и он... как труп безглавый,
Ещё в крови, ещё дымясь;
Не небеса, ожесточась,
Его снесли огнём и лавой:
Твердыня, избранная славой,
Земному грому поддалась!
Три царства перед ней стояло,*

*Перед одной... таких громов
Ещё и небо не метало
С нерукотворных облаков!
В ней воздух кровью напоили,
Изрешетили каждый дом
И вместо камня намостили
Её свинцом и чугуном.
Там по чугунному помосту
И море под стеной течёт.
Носили там людей к погосту,
Как мёртвых пчёл, теряя счёт...
Свершилось! Рухнула твердыня,
Войска ушли... кругом пустыня,
Могилы... Люди в той стране
Ещё не верят тишине,
Но тихо... В каменные раны
Заходят сизые туманы,
И черноморская волна
Уныло в берег славы плещет...
Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.
...Скорей туда — в родную глушь!
Там можно жить, не обижая
Ни божьих, ни ревизских душ
И труд любимый доверяя.
Там стыдно будет унывать
И предаваться грусти праздной,
Где пахарь любит сокращать
Напевом труд однообразный.
Его ли горе не скребёт? —
Он бодр, он за сохой шагает.
Без наслажденья он живёт,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя!
За личным счастьем не гонись
И богу уступай — не споря...*

Характерно, что установившаяся после войны тишина предвещала не сон, а пробуждение — стихотворец примечал, что в думах, охвативших образованную часть общества, уже начало поблёскивать «солнце правды». Действительно, теперь, когда трагическая страница русской истории была перевернута, от императора ждали выводов, которые позволили бы не наступить в будущем на те же грабли.

Когда-то давно Кондратий Рылеев — поэт и один из пяти казнённых декабристов — написал на день рождения будущего монарха, который теперь, спустя почти тридцать лет, вступал на престол, торжественные стихи — напутствие, оказавшееся в некоторой мере и пророчеством. Ему «привиделось», как над пробуждённым Петербургом снизошла Екатерина II.

Царица тихо ниспускалась,
На лёгком облаке как дым,
И, улыбаясь, любовалась
Прелестным правнуком своим;
Но вдруг Минервы светлоокой
Чудесный лик прияв, она
Слетела, мудрости высокой
Огнём божественным полна.
К прекрасному коснувшись дланью,
Ему Великая рекла:
«Я зрю, твой дух пылает бранью,
Ты любишь громкие дела.
Но для полунощной державы
Довольно лавров и побед,
Довольно громозвучной славы
Протекиших, незабвенных лет.
Военных подвигов година
Грозою шумной протекла;
Твой век иная ждёт судьбина,
Иные ждут тебя дела.
Затмится свод небес лазурных
Непроницаемою мглой;
Настанет век борений бурных
Неправды с правдою святой.
Уже воспрянул дух свободы
Против насильственных властей;
Смотри — в волнении народы,
Смотри — в движении сонм царей.
Быть может, отрок мой, корона
Тебе назначена творцом;
Люби народ, чти власть закона,
Учись заране быть царём.
Твой долг благотворить народу,
Его любви в делах искать;
Не блеск пустой и не породу,
А дарованья возвышать.
Дай просвещённые уставы,
Свободу в мыслях и словах,
Науками очисти нравы
И веру утверди в сердцах.
Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной любви,
И рабства дух неблагородный —
Неправосудье истреби.
Будь блага подданных ревнитель:
Оно есть первый долг царей;
Будь просвещения покровитель:
Оно надёжный друг властей.

*Старайся дух постигнуть века,
Узнать потребность русских стран,
Будь человек для человека,
Будь гражданин для сограждан.
Будь Антониной на престоле,
В чертогах мудрость водвори —
И ты себя прославишь боле,
Чем все герои и цари».*

Рылеев предвидел, что Александр, на тот момент в очереди на корону официально не стоявший, займёт престол, Россия будет «сосредотачиваться» на внутренних реформах, а Европу в целом — потрясать революции. Однако поначалу ничто не предвещало такого поворота событий. Навязывавшееся Жуковским просвещение тогда ещё великому князю не пристало; под влиянием отца, подавлявшего волю своего чада, он сделался сторонником николаевского абсолютизма — большим, чем сам император.

Действительно, царствование покойного государя было блестящим. Пока европейцы ниспровергали алтари и престолы, русский самодержец остановил всякое проникновение революционной заразы в вверенную ему страну, установив «духовные плотины» от «гнилого Запада». Победоносно завершил войну с персиянами и турками, расширив границы православного государства, усмирил смуту в польских и венгерских краях. Вся европейская аристократия чуть ли не молилась на Николая Павловича, видя в нём залог сохранности своих дворцов и тронов от беснующейся черни, республик и конституций. Но война разом выявила все изъяны крепостнического строя. Стало ясно — ввергнутая в международную изоляцию страна отстала в техническом и экономическом отношении, она уже не может соперничать с ведущими европейскими державами не только в плане торговли, но и на поле боя. Положение дел в армии отягощалось систематическим воровством, вытекавшим из него плохим материальным обеспечением войск и бездарным командованием. Покойным государем была выстроена такая бюрократическая вертикаль, при которой сверху шли мудрые директивы руководства, а снизу возвращались радужные отчёты и победные реляции. Скажешь правду — сам же за это и пострадаешь. Изменить что-либо подобной дерзостью невозможно: на всё воля божья, а начальство огорчать нельзя. То есть честный человек в принципе не имел шансов надолго задержаться на верхних этажах этой системы. Вот и получалось, что отяжелённый бумажной волокитой госаппарат оказался фактически неуправляем, а командные высоты в результате отрицательного социального отбора отдавались на откуп казнокрадам и очковтирателям.

С другой стороны, за прошедшие полвека, не исключая и николаевский период, российское общество значительно изменилось — ширился круг образованных людей, которые всё чаще задавали неудобные вопросы. Первой о просвещении дворянства в православной империи озаботилась матушка Екатерина — но исключительно для смягчения нравов, не более. Лишних рассуждений государыня не позволяла. Когда московский масон и книгопечатник Николай Новиков занялся распространением массовых изданий, ему дали по рукам; дерзнувший говорить о крепостном бесправии чиновник Александр Радищев был отдан под суд и отправлен на каторгу, а вольнодумство признано едва ли не опаснее пугачёвщины. Однако читать произведения двух русских просветителей продолжало ещё не одно поколение, тем более что вкус к литературе императрица дворянам таки привила, а её внук Александр Павлович окончательно закрепил. Если при его великой бабке настоящий барин считал зазорным даже открыть книжку или журнал, то при её прославленном внуке наиболее передовое дворянство уже почитало писательский труд едва ли не за исключительную сословную привилегию, с большой ревностью признавая литераторов и публицистов из разночинских кругов за братьев по цеху. Николай I, разумно полагая, что чтение — причина смуты в головах, пытался

всё, что выходит из-под пера поэтов, писателей и прочих сочинителей если не запретить, то, по крайней мере, поставить под личный контроль, но было уже поздно. В николаевское время в стихотворцы подались даже крепостные и купцы. Молодёжь же массово увлекалась немецкой идеалистической философией, а самые продвинутые даже изучали французских социалистов-утопистов. Но всё это делалось тихо — вдали от глаз начальства.

В целом казалось, что после выступления декабристов страна погрузилась в летаргический сон, пока всех не разбудил «выстрел в ночи», произведённый сочинениями Петра Чаадаева. «Мы ничего не дали мировой цивилизации!» — сетовал басманный философ. Поставленные им вопросы стали отправной точкой для большой дискуссии о судьбах отечества. Она началась в университетском кружке Николая Станкевича, из которого потом вышли две группы русских либералов. Их споры о прошлом страны и её будущем составили «замечательное десятилетие» сороковых годов. Одни, во главе с Хомяковым, Самариным и Аксаковыми, превозносили допетровскую старину — и получили название славянофилов. В полемике с ними оформился кружок западников, полагавших, что русский путь пролегает через проторенную дорогу европейской цивилизации, от которой мы изрядно отстали. Лидерами этого лагеря были Грановский, Кавелин и Белинский. Когда-то принадлежал к ним и Герцен, который признавался, что был «разбужен» декабристами. Однако вкусив на собственной шкуре все прелести западной политики, бесповоротно разочаровался в буржуазных порядках и стал проповедовать «крестьянский социализм», полагая, что богоспасаемая отчизна может пропустить чуждый её народу капиталистический этап развития и сразу построить социализм — на основе сельской общины, ведь если хорошенько разобраться, она и есть готовая коммуна. Александр Иванович проповедовал из Лондона, подзуживая оппозиционные настроения среди российской публики, заражая её своими завиральными идеями и подтачивая основания престола, а в Петербурге ему стал вторить молодой публицист Николай Чернышевский, выступавший со страниц журнала «Современник».

Накопившийся ворох проблем признавали почти все — от высших сановников до университетских профессоров, даже весьма патриотически настроенных. Что поделать! Факты, говорил один англичанин, — вещь упрямая.

А кому из Романовых было легко? Екатерина II, чтобы взойти на престол, должна была перешагнуть через труп нелюбимого мужа, её внук Александр I — закрыть глаза на убийство родного отца. Брат его Николай начинал царствование с потопленной в крови революции. Что ж с того, что Александр II получил в наследство заведомо проигранную войну, расстроенные финансы и погрязшую в коррупции и хлестаковщине армию вороватых чиновников?

Монарх. С одной стороны, **Александр Николаевич** уже не был романтически настроенным юношей и не предавался наивным заблуждениям молодости, а с другой — ещё не стал твердолобым стариком, чьи давно сформировавшиеся убеждения надёжно осели в глубинах заостренного сознания и не подвержены стороннему влиянию. Как раз таки наоборот. Не имея твёрдого характера своего отца и умения вникать в каждую мелочь, он обладал способностью схватывать суть вопроса, подбирать грамотных исполнителей и выслушивать другие мнения. Другое дело, что требовалось обладать некоторым искусством ему их подносить — как истинный самодержец, его величество не любил непрошенных советов.

— Покойного императора Николая Павловича все трепетали, — рассказывал князь Николай Алексеевич Орлов, сын видного николаевского вельможи, военный и в течение многих лет российский посол во Франции и Германии, — а между тем с ним можно было говорить подчас и откровенно; это я знаю по опыту. Иногда, слыша что-нибудь несогласное с его мнениями, он сердился, даже прогонял меня, но не ставил мне этого в вину. Совсем другое теперешний государь Александр Николаевич: ведь мы были почти воспитаны вместе, я находился к нему в весьма близких отношениях, но у меня положительно слова замирают на языке, когда он уставит на меня свой тусклый, безжизненный взгляд, как будто и не слышит, о чём я говорю.

Впрочем, знающие императора лица утверждали, что умных людей государь тоже недолюбливал, но, понимая, что ему далеко до покойного батюшки, который мог править страной по-настоящему самодержавно, контролируя мельчайшие вопросы вплоть до пуговиц на мундирах гвардейских полков, Александр всё-таки старался держать в своём окружении хотя бы горстку дельных людей.

«Не всё делать вдруг», — говаривал не склонный к поспешным решениям правитель. Его величество не пытался играть грозного самодержца, от взгляда которого подданные падают без чувств, а предпочитал держаться по-простому, не рисуясь. В часы досуга любил прогуляться с собакой по парку, зимой, взяв под руку старшую дочурку, катался на коньках под окнами дворца, на виду у петербургской публики, но главной его страстью была охота на медведя. Как выразился историк, «он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался».

Ожидания и надежды. Один из современников видел, как холодным мартовским днём 1855 года от Зимнего дворца тянулась вереница гвардейских полков с траурными знамёнами, за ними шли государственные сановники, придворные чины, отряжённые на мероприятие чиновники министерств и ведомств. Государь — высокий, статный и подтянутый — с грустным видом молча провожал в последний путь гроб с останками покойного родителя. Процессия тихо направлялась через мост к Петропавловской крепости, в соборе которой располагалась родовая усыпальница романовской династии.

«Какое впечатление испытывает умерший в первые дни своего появления на том свете?» — спросили однажды у Козьмы Пруткова, таинственного публициста, которого никто не видел, но все от души забавлялись его остротами и афоризмами, на протяжении нескольких лет печатавшимися в журнале «Современник». Вымышленный персонаж, за которым в реальности скрывался коллектив талантливых поэтов сатирического направления, ненадолго пережил почившего в бозе Николая Павловича — и уже с того света, как бы через медиума, отвечал:

«На пути полёта моего в беспредельное пространство мне довелось повстречаться с некоторыми прежде меня умершими начальниками, и первую при этом у меня мыслью было застегнуть свой вицмундир и поправить орденский знак на шее. Ощупывая и не находя ни ордена, ни гербовых пуговиц, я невольно оторопел. Моё смущение увеличилось ещё более, когда, осмотревшись, я заметил, что вовсе не имею никакой на себе одежды. В ту же минуту в памяти моей воскресла давным-давно виденная мною картинка, изображающая Адама и Еву после падения; оба они, устыдясь своей наготы, прячутся за дерево. Мне стало жутко от сознания, что и я много согрешил в жизни и что мундир мой, ордена и даже чин действительного статского советника уже не прикроют собою моей греховности! Я с беспокойством стал озираться вокруг себя, стараясь отыскать хотя бы маленькое облачко, за которое мог бы укрыться; но ничего не находил!

Взор мой, тоскливо блуждая, остановился на земле, где не без труда отыскал болотистую местность Петербурга, а на одной из его улиц заметил погребальное шествие. Внимательно всматриваясь в сопровождавших печальную колесницу, вёзшую мои бранные останки, я был неприятно поражён равнодушным выражением лиц у многих из моих подчинённых. В особенности же меня глубоко огорчила неуместная весёлость моего секретаря Люсилина, ездившего около назначенного на моё место статского советника Венцельхозена».

Сложно сказать, что испытывала душа покойного императора, взирая с небес, но после похорон грозного самодержца большая часть его подданных вздохнула с облегчением. Близ-

кий к славянофилам поэт Фёдор Тютчев, бывший дипломат, теперь работавший цензором при министерстве иностранных дел, на смерть деспотичного монарха отреагировал стихами:

*Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.*

— Для того чтобы создать такое безвыходное положение, — пояснял стихотворец в частном разговоре, — нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и всё упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем стал пробивать стену головой, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года тому назад незабвенный покойник, — прибегал Тютчев к языку аналогий, но сразу же оговаривался, что валить всё на одного человека «и делать его одного ответственным за подобное безумие» было бы неправильно. — Нет, — подчёркивал Фёдор Иванович, — конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России, и именно потому, что это отклонение началось в столь отдалённом прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями.

Как изрёк тот же Козьма Прутков, в спёртом воздухе при всём старании не отдышишься — однако теперь, когда тело зловещего самодержца было предано земле, появилась надежда, что, может быть, хотя бы приоткроют форточку.

— Погребался не только русский царь, тридцать лет безгранично властвовавший над Россией. Вместе с ним хоронили целый порядок вещей, — подытожил лицезревший траурную церемонию Борис Чичерин, молодой учёный-правовед из московского кружка западников, в первые дни нового царствования оказавшийся в Петербурге. Сюда уже несколько лет как переехал его бывший учитель и один из вожаків западнического направления мысли — профессор юриспруденции Константин Кавелин.

— Представьте, — говорил наставник бывшему ученику, — вчера ко мне пришёл один господин и сам взялся написать статью о прошлом царствовании, с целью пустить её в ход в виде рукописи. Я, разумеется, ухватился за это обеими руками.

Автором «рукописной» статьи оказался старый знакомый Бориса Николаевича по кружку западников — литератор Николай Мельгунов, а называлась она «Мысли вслух об истёкшем тридцатилетии». Чичерин не остался в стороне и тоже вернул статейку под названием «Об аристократии, в особенности русской». Он писал:

«Надобно, чтобы каждый человек мог сознавать себя гражданином, призванным содействовать общему делу, а не рабом, могущим служить только орудием чужой воли; надобно, чтобы он не трепетал за каждое смело сказанное слово, а мог бы свободно высказывать мнение, которое считает полезным для отечества, не боясь быть за то призванным в III отделение или сосланным в отдалённые губернии. Не прав мы желаем, ибо во всём полагаемся на царя, а просим только позволения возвысить голос и обсуждать то, что ближе всего касается нашего сердца, — благоденствие нашего Отечества».

Несмотря на то, что весь первый год александровского правления продолжалась война, «общее настроение было радостное и полное надежд, все чувствовали, что дышать стало свободнее». Однако во многом у кормила государственной власти оставались знакомые всё лица, каких-либо значимых перемен в общественной жизни не последовало. Более того, вскоре из

придворных сфер до просвещённой публики дошли толки, что новый государь — большой почитатель системы покойного родителя.

— Нет, Борис Николаевич, — разочарованно вопрошал впечатлительный Кавелин, узнав эту новость от военного профессора Дмитрия Милютина, любившего вращаться в литературных кругах, — неужели это возможно? Неужели после того страшного деспотизма, который тяготел над нами столько лет, придётся ещё выносить господство всей этой дряни?

К этим опасениям присоединялся и Аполлон Майков, ещё один стихотворец, в своих виршах воспевавший выезды Николая I в коляске (за что был прозван «Аполлоном Коляским»). Валить все смертные грехи на голову любимого самодержца он не спешил и теперь, предпочитая смещать фокус критики на окружение помазанника, но и это было показательно:

*Бездарных несколько семей
Путём богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превьшие всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»*

Тютчев призывал запастись терпением. По поводу остававшихся у дел николаевских министров он говорил:

— После погребения покойника на его теле ещё некоторое время продолжают расти волосы и ногти...

А в отношении воцарившегося монарха подмечал, что его величество не любит слишком умных людей: со стороны казалось, что ему с ними как-то неловко.

— Quand l'empereur cause avec un homme d'esprit, — пояснял Фёдор Иванович, — il a l'air d'un homme atteint de rhumatisme qui est exposé a un vent coulis. — «Когда император разговаривает с умным человеком, у него вид ревматика, стоящего на сквозном ветру».

Эту тему охотно подхватывал Александр Никитенко, сын отпущенного на волю крепостного, петербургский профессор словесности, редактор журналов и чиновник цензуры от ведомства просвещения.

— Вы спрашиваете, отчего у нас мало способных государственных людей? Оттого, что от каждого из них требовалось одно — не искусство в исполнении дел, а повиновение и так называемые энергические меры, чтобы все прочие повиновались. Всякий, принимая на себя важную должность, думал об одном: как бы лично удовлетворить воле вышестоящего начальника. Тут нечего было рассуждать и соображать, а только плыть по течению.

Вот и приплыли всей страной...

Борьба с цензурой. Всем сколько-нибудь мыслящим людям было ясно, что жить по-старому больше нельзя — прогнившую насквозь систему нужно менять. Поскольку под конец николаевского царствования цензура перестала пускать в печать любые мысли, которые хоть слегка отклонялись от официального курса, отсекая от трибуны даже вполне верноподданнические мнения, публицистам не оставалось ничего, как распространять свои взгляды под видом частной корреспонденции. **Рукописные письма, статьи и записки** переписывались, ходили по рукам, читались и обсуждались в московских и петербургских гостиных.

Много шума наделали «Историко-политические письма» московского профессора и публициста Михаила Погодина. За ними последовала статья «Дума русского во второй половине 1856 года» курляндского губернатора Петра Валуева, писавшего о том, что «сверху — блеск, внизу — гниль». Из-под пера славянофила Константина Аксакова вышла записка «О внут-

реннем состоянии России», а молодой западник и правовед Борис Чичерин разразился статьями «Современные задачи русской жизни», «Об аристократии, в особенности русской» и «Об освобождении крестьян в России». Часть этих корреспонденций адресовалась императору — в первые несколько лет царствования его величество получит десятки проектов реформ.

«Дайте полякам конституцию, простите наших политических преступников, объявите твёрдое намерение освободить постепенно крестьян, облегчите цензуру!» — писали царю неравнодушные умы, буквально преподнося ему готовую программу.

Необходимость перемен витала в воздухе, однако никто не торопился переписывать старые уставы. Фёдор Тютчев, занимавший пост главного цензора иностранной литературы, добивался официального послабления цензурных ограничений в масштабах всей страны, доказывая, что ничего, кроме блага это не принесёт.

— Свободная печать невозможна при самодержавии, — надменно заявляли правительственные чиновники, принимая такой вид, будто высказывают не требующую доказательств аксиому. — Это значило бы убить себя из опасения быть убитым.

— Если самодержавная власть принадлежит лишь государю, то нет ничего более совместимого, а там, где каждый чиновник чувствует себя самодержцем, невозможна ни печать, ни всё остальное, — доказывал человек, в котором уживались поэт и цензор.

Александр Никитенко жаловался:

— У нынешних цензоров врождённая неприязнь ко всем книгам, кроме одной, которую они чтут высоко.

— Какая же это книга? — спросил собеседник.

— Приходно-расходная, — отвечал Никитенко, — где они расписываются в получении жалованья.

Не дожидаясь указаний сверху, московский цензор Николай фон Крузе, лишь недавно заступивший на этот пост, на свой страх и риск пропустил в печать несколько, как ему показалось, «невредных» вещей — и не получил за это по шапке от строгого начальства.

— Зачем же я буду беспокоить их превосходительства делом, которое не выходит из пределов моего полномочия? — рассуждал он. — Это не только излишне, но и в высшей степени неудобно. Ведь если всякое частное мнение будет представляться на самый верх и получать одобрение правительства, то это уже будет соображением государственным и в некоторой степени обязательным к исполнению.

Первые изменения. Примеру москвича последовала всегда более либеральная петербургская цензура, тем более что **в декабре 1855 года**, когда стало ослабевать бремя военных трудов, власти официально **упразднили Бутурлинский комитет**, который осуществлял вышший надзор в области цензуры, перестали преследовать публицистов и литераторов за высказанные вслух «крамольные» мысли, разрешили издание сочинений некоторых запрещённых писателей — в частности, Николая Васильевича Гоголя. Следом были сняты ограничения на набор в университеты, стали вновь выдаваться стипендии для зарубежных стажировок студентов и преподавателей и — на радость обеспеченных обывателей — была возобновлена выдача заграничных паспортов. Наконец, был разрешён **выпуск новых печатных изданий** — то, о чём раньше говорили шёпотом, теперь осторожно стало выплёскиваться на страницы газет и журналов.

Почти одновременно нововведения были подкреплены кадровыми перестановками и назначениями.

У руля главного из российских министерств — внутренних дел — встал старый сановник либеральной александровской закалки **Сергей Ланской**. В молодости Сергей Степанович, как и всё тогдашнее юношество, ходил в масонах, откуда едва не попал к декабристам, но в зрелом возрасте зарекомендовал себя деятельным и исполнительным администратором — руководил губерниями, занимал должности в Сенате и в конце концов дослужился до Госсвета.

На посту министра он сменил николаевского генерала Дмитрия Бибикова, которого Александр II, в угоду консервативным помещикам, был вынужден отправить в отставку: будучи автором так называемой «инвентарной реформы», направленной на упорядочение отношений между дворянами и их крепостными, сановник ополчил против себя добрую часть представителей благородного сословия, не желавшими поступиться ни толикой своих привилегий.

Ведомство путей сообщения возглавил генерал **Константин Чевкин**, большую часть карьеры отдавший инженерному делу; морское министерство — великий князь **Константин**, брат императора; военное министерство — генерал **Николай Сухозанет**, старый военный-артиллерист, начинавший службу ещё во времена наполеоновского нашествия; прежний глава военного ведомства, князь **Василий Долгоруков**, был поставлен во главе Третьего отделения, руководство которым стало вакантным после перемещения **Алексея Орлова** в председатели Госсовета. Место кавказского наместника занял князь и генерал **Александр Барятинский**, в молодости состоявший в великокняжеской свите нынешнего государя и почти вся военная карьера которого прошла в горном регионе, где он прослужил почти два десятка лет. Пост царского наместника в Польше был отдан ещё одному князю в генеральском чине — старому военному **Михаилу Горчакову**, двадцать лет прослужившему в Варшаве «правой рукой» фельдмаршала Паскевича и командовавшему войсками в Крыму. Особое внимание в этом списке привлекали Ланской, Чевкин и Константин Николаевич, слывшие сторонниками либерализма.

— Говорят, — осторожно рассказывал Никитенко в тесном кругу, — что великим князем Константином Николаевичем издан приказ по морскому министерству о том, чтобы начальство в отчётах своих не лгало, уверяя, что всё находится в чудесном виде, как это обыкновенно делается. В приказе есть ссылка на какую-то записку, кажется, губернатора Валуева, в которой весьма резко говорится о разных форменных и официальных лжах. Это производит большой шум в городе. Министрам и всем, подающим отчёты, приказ очень не нравится. В сущности же это прекрасное дело. Многим вообще не нравится, что начинают подумывать о гласности и об общественном мнении.

Отмашку на обличение общественно-государственных пороков дал сам Александр II. В феврале 1856 года он побывал на пьесе «**Чиновник**» графа Владимира Соллогуба — близкого ко двору функционера, любившего на досуге взяться за перо. Спектакль поставила у себя дома сестра императора — великая княгиня Мария Николаевна, девушка весьма вольных нравов, которая схоронила первого мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, и тайно от отца сошлась со своим старым любовником Жоржем Строгановым, известным петербургским повесой и кутилой, человеком знатным, но не царских кровей. Скандала тогда удалось избежать — вокруг девушки и её поведения и так ходило множество слухов. Её брат, взойдя на престол, морганатический брак узаконил, и молодая чета официально поселилась в Мариинском дворце, который покойный батюшка заказал у архитектора Андрея Штакеншнейдера для любимой дочурки. Собравшееся в домашнем театре избранное общество хохотало над пьесой от души. Когда опустился занавес и гости стали расходиться, Александр натолкнулся на известного в литературных кругах критика, издателя и профессора Петра Плетнёва.

— Не правда ли, пьеса очень хороша? — поинтересовался благодушно настроенный государь.

— Она не только хороша, ваше величество, — подтвердил Плетнёв, — но составляет эру в нашей литературе. В ней говорится о состоянии наших общественных нравов то, чего прежде нельзя было и подумать, не только сказать во всеуслышание.

— Давно бы пора говорить это, — соглашался император. — Воровство, поверхностность, ложь и неуважение законности — вот наши главные общественные раны.

К слову, для начала Александр II дал отмашку на подготовку и издание **русской Библии**: как ни парадоксально, но до сих пор наша церковь считала опасным знакомить населе-

ние богоспасаемого отечества с бумажным «оригиналом» Священного Писания, предпочитая доносить Христовы истины до православных устами церковных пастырей, а сами служители культа изучали слово Божие по изданному ещё при Елизавете Петровне, то есть за сто с лишним лет до этого, тексту на церковнославянском языке, по сути, диалекте староболгарского, малопонятного для обычного русского человека. Попытка приблизить главную книгу христиан к православной пастве была предпринята в начале 19-го века ещё при первом Александре по линии Российского библейского общества — несмотря на протесты основной части иерархов, однако консервативная позиция церковной верхушки таки взяла верх с воцарением Николая: о переводе Старого и Нового заветов на русский язык пришлось забыть почти на четверть века. Теперь, в соответствии с высочайшей волей, работа будет возобновлена, а так называемый Синодальный — то есть под редакцией Святейшего синода — русскоязычный перевод увидит свет в 1876 году.

Новые журналы. На этом радужном фоне своими печатными органами поспешили обзавестись представители либерального лагеря — западники и славянофилы, истосковавшиеся за время «мрачного семилетия» концовки николаевского царствования по публичным дискуссиям и идейным баталиям, которыми изобиловала предшествующая эпоха — давно забытое «славное десятилетие».

Славянофилы, прежде транслировавшие свои мысли через погодинский «Москвитянин», который теперь перестало читать даже непритязательное купечество, основали журнал «Русская беседа» (1856—60), издававшийся на деньги Александра Кошелёва, разбогатевшего на винных откупах. Противники шутили:

*И вот коленопреклоненный,
Не враг, конечно, откупов,
Кадит усердно мурж почтенный,
Отец «Беседы», Кошелёв.*

Позже журнал сменила газета «День» (1861—65), а с кончиной идейного лидера кружка Алексея Хомякова и его «правой руки» Ивана Киреевского на первые роли вышли представители молодого поколения славянофилов — Юрий Самарин, Иван Аксаков и примыкавший к ним князь Владимир Черкасский.

После смерти Белинского и эмиграции Герцена признанным вожакom западнического кружка выступал московский профессор Тимофей Грановский. В последние годы он предался «гражданской скорби» — пытаясь отвлечься карточной игрой, наделал долгов и умер на самой заре новой эпохи, «когда над бедной русской землёй / заря надежды медленно всходила», а всё его научное наследие ограничилось университетскими лекциями, сохранившимися лишь в форме студенческих конспектов. «А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего, — язвили потом его оппоненты. — Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается». Как бы то ни было, с уходом своего гуру и учителя сторонники указанного направления мысли объединились вокруг журнала «Русский вестник» под редакцией Михаила Каткова, бывшего профессора философии (до недавнего времени — дисциплины запрещённой) и журналиста. Его постоянным компаньоном был филолог-романист Павел Леонтьев. Замыкал редакторский триумвират Евгений Корш.

— Если бы император Николай восторжествовал, — говорил Михаил Никифорович, намекая на результаты Крымской войны, — то трудно и представить себе, что сделалось бы с ним. Он уподобился бы Навуходоносору — вышел бы в Летний сад и стал бы щипать траву.

Каткова можно понять: николаевский режим лишил его кафедры. Зато дал газету, хотя, сказать по правде, весьма паршивенькую — её тогда никто не читал, к тому же без копейки

денег на её раскрутку. Речь ошла о «Московских ведомостях», выпускаемых под эгидой университета старой столицы. Отставленный профессор не растерялся и вывел захиревшее издание в число наиболее солидных, а потом взялся и за созданный совсем с нуля журнал, успех которому обеспечили так называемые «политические обозрения».

Впрочем, уже первый номер «Вестника» не оправдал ожиданий, а вскоре (спустя год) издание превратилось в личный орган Каткова, который руководил авторитарными методами и не терпел ни малейшего расхождения с собственным взглядом на вещи.

— Надеюсь, что вы выйдете победителем из недоразумения, которое опутало ваш талант, — высказывал главный редактор одному из ведущих сотрудников журнала, с которым, когда между ними пробежала чёрная кошка, распрощался без малейшего сожаления — Борису Чичерину. Как сказал классик, *бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности*. Однако молодой человек за словом в карман не полез.

— Правду говаривал покойник Грановский, что изучение русской истории портит самые лучшие умы. Привыкнув следить за единственным в ней жизненным интересом, собиранием государства, невольно отвыкаешь брать в расчёт всё прочее и невольно пристращаешься к диктатуре, — отвечал учёный-западник, решивший завязать с публицистикой и посвятить жизнь академической карьере, впредь занимаясь написанием только научных трудов.

Когда оставшиеся за бортом редакции либеральные умы предложили Борису Николаевичу выпускать собственную газету, Чичерин отвечал:

— Нет, господа. Журналистика имеет смысл и может принести пользу только там, где существует серьёзная литература, которая служит ей основанием, пищею и сдержкою. У нас научная литература совершенно отсутствует, а потому о политических, исторических и философских вопросах можно болтать всё, что угодно. В общем, участвовать в издании газеты значило бы разменять себя на мелкую монету, а я желаю сосредоточиться на более серьёзных задачах.

— Да теперь в России книг уже никто не читает! — возражали товарищи.

— И тем не менее, будь у нас всего пять человек, читающих книги, то единственно для них стоило бы писать, ибо от них зависела бы вся дальнейшая судьба русского просвещения. Хотя писать учёные книги в России — труд весьма неблагодарный. Если даже в Западной Европе жалуются на то, что чтение газет вытеснило чтение книг, то у нас и подавно привычка довольствоваться лёгкою журнальною болтовнёю делает несносным всякое напряжение мыслей и умственное внимание.

Когда-то (в 1830-х) за отсутствием альтернативы самым читаемым из легальных российских изданий была официозная «Северная пчела», в 1840-х этот статус перешёл к умеренно оппозиционным «Отечественным запискам», а в 1850-х подписчики стали всё больше выбирать радикально-демократический «Современник», выпускаемый поэтом Николаем Некрасовым и его компаньоном Иваном Панаевым. Журнал чудом пережил «мрачное семилетие» и постоянно ходил по краю. Спасло то, что благодаря покойному Белинскому вокруг издания собрались лучшие авторы русской литературы — Гончаров, Толстой, Григорович, Островский и в первую очередь Тургенев, а также товарищи последнего — критики Боткин, Анненков и Дружинин.

Однако далеко не всё можно было сказать прямо — ведь цензура никуда не делась, просто ослабла явочным порядком. Конечно, проницательный российский читатель давно уже освоил эзопов язык и научился выискивать спрятанный между строк смысл. Зачастую приходилось упаковывать крамольную мысль под видом юмористического очерка или подавать как обличение западных порядков. Общественное заменять как бы личным, под разговором о прошлом понимать современность, а иногда выступать с защитой мракобесных идей — доводя их до абсурда и тем самым разрушая изнутри; если же правдоподобное нарочно сталкивается с фантастически-преувеличенным, создавая комический эффект, это уже гротеск. Соответствующ-

щих приёмов имела масса — и любой мало-мальски сообразительный гимназист понимал, что, рассуждая о «критике китайской финансовой системы», автор далеко не всегда взаправду интересовался состоянием денежных дел в азиатском государстве, а если сообщал об изъятиях в политическом устройстве соседней Австрии, то, вероятно, на самом деле проводил параллели с богоспасаемым отечеством. И всё же иной раз хотелось говорить как есть, выкладывая всё начистоту.

Так считал и лондонский изгнанник Александр Герцен, прежде — один из ведущих умов западнического лагеря, натерпевшийся за несколько ссылок по «местам не столь отдалённым» и уехавший за границу. После измены любимой супруги, последовавшей вскоре после этого её гибели и смерти одного из сыновей автор романа «Кто виноват?» нуждался в точке опоры, которая помогла бы жить дальше. Сначала была написана выдержанная в эпистолярно-мемуарном жанре автобиография «Былое и думы», затем — основана «**Вольная русская типография**» (1853), задуманная бывшим московским западником в качестве средства противодействия ещё николаевской цензуре. Со смертью деспотичного монарха Герцен задумал выпуск альманаха, который стал бы открытой трибуной для любых «вольнодумных» идей соотечественников. Разумеется, ввозиться на родину такое издание могло только контрабандой и распространяться нелегальными путями. В память о первых российских революционерах, когда-то «разбудивших» юного Герцена, оно получило название «**Полярная звезда**» (1855), подобно альманаху, издававшемуся за тридцать лет до этого Кондратием Рылеевым, а на его обложке красовались профили пяти казнённых декабристов.

«„Полярная звезда“ скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошёл — „Полярная звезда“ является вновь», — оповещал издатель своих читателей и в первом же номере провозгласил собственную программу, исполнения которой требовал от нового царя:

«Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного состояния от побоев!»

Задумывалось, что альманах будет выходить по одной книжке в год, однако вскоре в редакцию стало поступать такое количество писем с материалами для публикации (сначала они печатались в «Голосах из России»), что владельцу вольной типографии пришлось начать выпуск регулярного дополнения к «Звезде», которым стала газета «**Колокол**» (1857), выходявшая два раза в месяц. Само название содержало отсылку к шиллеровской «Песне о колоколе», а лозунгом газеты стали слова эпиграфа к стихам немецкого романтика: «Vivos voco!» То есть — зову живых. Тех, кто пережил «ночь» николаевского правления.

Напечатанный на обложке медальон с изображением ликов повешенных декабристов производил на неокрепшие умы свободолюбивой молодёжи «почти молитвенное благоговение».

— Смотри, Петя, тебя так же повесят когда-нибудь, как и их! — назидательно предупреждала заботливая петербургская тётушка своего бестолкового племянника, готовившегося к гвардейской придворной службе, заставляя будущего камер-пажа с очередным номером запретного чтива.

«Безнаказанность воров, поставленных так высоко, что их, как адмиралтейский ипиль, видно отовсюду, служит особенным поощрением маленьким ворюшкам», — прямо заявлялось в одной из первых передовиц неподцензурного издания, а во втором номере газеты осенью 57-го приводилась анонимная корреспонденция из Петербурга:

«В какое странное положение стала Россия с окончанием последней войны! Севастопольский пожар разогнал немного тот мрак, в котором мы бродили ощупью в последние годы незабвенного царствования. Многие приняли военное зарево за возникающую зарю новой жизни и в словах манифеста о мире думали слышать голос скорого пробуждения. Но вот прошло уже два года нового царствования. Что же у нас изменилось? Неужели же государь, окружённый „стаей славных николаевских орлов“, совсем не видит, что делается, совсем не слы-

ишит народного голоса? Впрочем, как же ему и знать правду в компании тех помещиков — Коробочек, которые до второго пришествия Пугачёва не поймут, в чём дело».

Большая часть материалов выходила из-под пера самого издателя, писавшего под псевдонимом Искандер — что по-арабски и значит Александр. Оставшееся место отводилось под непечатные прежде произведения классиков и корреспонденции современников, среди которых встречались дословные выдержки из секретных документов. «Нам пишут...» — такими словами часто начиналась очередная заметка — притом что, как выразился историк, «конверт с адресом „Лондон, Герцену“ мог стать путёвкой в Сибирь».

Хотя газета почти сразу попала под запрет, а за её чтение, не говоря уже о распространении, можно было получить неприятности с законом, книготорговцы охотно — потому что с большой наценкой — продавали её из-под полы, а читали все образованные круги — «генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой». Тираж доходил до пяти тысяч экземпляров. Она тайком выписывалась министрами и с интересом читалась хозяином престола.

Однажды царь увидел в «Колоколе» тексты, в деталях раскрывавшие всю внутреннюю кухню государственной политики. По сути это была стенограмма заседания, на котором присутствовали только высшие сановники империи, как говорится, все свои, никого лишнего, не вёлся даже протокол — но тем не менее информация утекла.

— Кто донёс Герцену?! — недоумевал император, вызывая для объяснений начальника Третьего отделения и министра внутренних дел, но от дальнейших утечек это не спасло: достоинством независимого печатного органа два года кряду становилась роспись доходов и расходов богоспасаемого отечества, выражаясь современным языком, государственный бюджет, на котором испокон веков стоял гриф строжайшей тайны.

Сторонники официоза возмущались — мол, издание подаётся как свободная трибуна, а мнения, солидарные с точкой зрения царского правительства, редакцией игнорируются. Александр Иванович пояснял: зачем тратить бумагу и чернила вольной типографии, если у консерваторов есть возможность печататься в любом официальном органе. А свободная пресса затем и нужна, чтобы обличать и называть вещи своими именами.

— Глядите-ка! Опять тятеньку-то как пропекает, — удивлялся наследник престола, великий князь Николай, получавший запрещённое чтение от своих наставников, одним из которых был Константин Кавелин.

Царь по этому поведению шутил:

— Скажите Герцену, чтобы не бранил меня, иначе я не буду абонироваться на его газету.

А заслушивая доклады министров, часто обрывал их словами:

— Я уже читал это в «Колоколе»!

Если царские администраторы по старой памяти продолжали чинить произвол и притеснять податное население, то на них быстро находилась управа.

— Придётся жаловаться министру! — угрожал проситель.

— Не смейте! — отводил угрозу важный начальник.

— А если об этом случае растрезвонит «Колокол»?

Поскольку лондонскую газету, охотно обличавшую любые властные злоупотребления и nepотребства, читал государь, не пропускавший ни одного номера, данный аргумент действовал безотказно. Некоторые особо хитрые бюрократы и сами украдкой пописывали за границу, интригуя против политических противников и конкурентов за хлебные места. Впрочем, доходило и до курьёзов — в редакцию писали обойдённые чином или наградой офицеры, прося замолвить за них словечко и посодействовать в получении заслуженных привилегий...

Вскоре на Туманный Альбион перебрался и разорившийся на родине Николай Огарёв, которого с Герценом объединяла не только давняя дружба, но и жена Огарёва. Роль же посредника между российскими корреспондентами и лондонскими издателями взял на себя Иван

Тургенев, старый знакомый Герцена по кружку западников и один из самых модных писателей современности, уже успевший претерпеть от царского режима и обрести ореол мученичества.

Влияние Александра Ивановича Герцена на умы соотечественников было столь велико, что, как только открылись границы и за рубеж хлынул поток мало-мальски обеспеченных россиян, у порога лондонского дома, где жил Искандер, выстроилась очередь из представителей доморощенной интеллигенции, желавших лично засвидетельствовать ему своё почтение. Хозяин, ещё недавно отчаивавшийся от обрушившегося на него одиночества, не отказывал почти никому. Про одного из гостей, в ту пору известного в качестве начинающего писателя «социалистических тенденций» (он преподнесёт именитому эмигранту свою новую книгу — о тюрьмах царского режима), издатель «Колокола» скажет:

— Это наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ...

Речь шла о **Фёдоре Достоевском**. Несостоявшийся военный инженер, бросивший едва начавшуюся службу из-за врождённой предрасположенности к занятиям литературой, он уже успел прославиться романом «Бедные люди», однако наступление александровского царствования встретил «в местах отдалённых», куда попал за участие в сходках петрашевцев и чтение запретного письма Виссариона Белинского. Неистовый критик, собственно говоря, и открывший талант Фёдора Михайловича для широкой публики, незадолго до своей смерти распекал ударившегося в религиозный мистицизм Николая Гоголя, причём в таких выражениях, что это ужасно не понравилось николаевским администраторам, яростно боровшимся тогда с малейшими проявлениями свободомыслия, а программное послание Белинского тянуло на манифест борцов с самодержавием. Участников «преступного сообщества», заподозренных в «заговоре» против царского правительства, даже хотели расстрелять, но в последнюю минуту милостиво заменили смертную казнь лишением прав и отправкой на каторгу.

После четырёх лет в омском остроге отставного поручика перевели в семипалатинские арестантские роты. Данное учреждение позволяло использовать подневольный труд заключённых на благо отечества, сочетая его со строгими казарменными порядками и армейской дисциплиной. Формально арестанты числились приписанными к военно-инженерному ведомству, а поскольку Достоевский сам был из инженеров, то было логично, что со сменой императора погибающий зазря талант стал ходатайствовать о своём прощении перед новым государем, возлагая при этом надежды на своего старшего товарища по инженерному училищу — военного героя Эдуарда Тотлебена, вхожего в высокие сферы. И действительно, несколькими годами позже он даже вернётся в Петербург — с женой Марией, которую увёл у чиновника-пьяницы, а также подорванным здоровьем, с тех пор дававшим о себе знать периодическими приступами эпилепсии. Но главное заключалось в том, что ниспосланное мудрым начальством наказание возымело эффект и вернуло оступившегося молодого человека на путь истинный: увлечение утопическим социализмом и прочая юношеская блажь остались в прошлом; теперь ничего, кроме православия и верноподданнических идей, литератор не воспринимал.

Вновь оказавшись в столице, Фёдор Михайлович вместе с братом Михаилом стал издавать журнал «**Время**» (1861—63), а после его закрытия — «**Эпоху**» (1863—65). На страницах этих изданий Достоевский печатает свой роман «Униженные и оскорблённые», а также повесть «Записки из Мёртвого дома», написанную на основе собственного тюремного опыта — именно её он и преподнесёт Герцену. К слову, книга о том, как царский режим содержит каторжан, наделала много шума — этакий «Архипелаг ГУЛАГ» дореволюционных времён. Это, так сказать, литературное наполнение журнала. За философское обозрение (с уклоном в религию) отвечал **Николай Страхов**, бывший семинарист и учёный-натуралист, а литературную секцию вёл критик **Аполлон Григорьев**, прежде возглавлявший «молодую редакцию» в славянофильском журнале «Москвитянин». Страхов полагал, что религия — высшая форма познания, а Григорьев — что критика должна «органически вырастать из национальной почвы».

Два этих постулата стали основой **«почвенничества»** — течения, которое вытекало из позднего славянофильства, верило в самобытную, основанную на православии «русскую идею» и отрицало западничество, не принимая как грубо-материальный социализм, так и бездуховный капитализм. Во многом почвенники опоздали на спор славянофилов и западников, которые к этому времени всё больше стали переходить от теоретических диспутов и журнальной полемики к практической деятельности, принимая участие в подготовке и реализации правительственных реформ.

Достоевский, обыгрывая наступившее в империи оживление общественной жизни, потом напишет в романе «Бесы»:

«Оскорблённая Варвара Петровна бросилась было всецело в „новые идеи“ и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда ещё она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности... Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нём не знал и не слыхивал кроме того, что он „представляет идею“. Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на всё их олимпийство. Эти были очень серьёзные и очень вежливые; держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению её, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали».

В описании Степана Трофимовича прозорливые современники без труда угадывали детали биографии покойного Тимофея Грановского, а под «льнувшими к сброду» знаменитостями — Ивана Тургенева.

Гласность. «Толстые» журналы воплощали собой издания характера не только политического, но и литературного — на их страницах выходили главные книжные новинки, прежде чем появиться в виде отдельного издания. В 1856 году катковский «Русский вестник» публикует «Губернские очерки» вернувшегося из ссылки молодого чиновника Михаила Салтыкова-Щедрина, некрасовский «Современник» печатает «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и повесть Ивана Тургенева «Рудин», а в 1859 году его же «Дворянское гнездо» — про «старых людей» эпохи 40-х годов. Тогда же в «Отечественных записках» появится роман Ивана Гончарова «Обломов», который завершит портретную галерею «лишних людей». Выход этих произведений, ещё отражавших минувшую эпоху, но дававших пищу для размышлений о настоящем и будущем, имел значение не только и не столько художественное, сколько общественно-политическое, ведь за отсутствием настоящей политики литература у нас традиционно несла дополнительную смысловую нагрузку, служа фактически единственным инструментом для трансляции альтернативных самодержавной власти мнений, оценок и точек зрения.

Лев Толстой, уже известный автобиографичной повестью «Детство», в своих «**Севастопольских рассказах**» начал за здравие. В декабрьском городе, показанном читателю при свете дня, на бульварах звучит музыка, в лазаретах стонут раненые с отрезанными конечностями, а на бастиях гремит канонада. Кто вернулся с передовой живым — бравировал своей храбростью, кому только предстоит встреча с противником — силится не выказать пробирающего его страха. Сам же рассказ проникнут патриотизмом и чувством гордости за героизм защитников осаждённой крепости. Однако уже в майской ночи на первый план выходят мелкие страстишки тщеславного офицерства: холёные аристократы, в которых идёт внутренняя борьба между трусостью и мужеством, презирают солдатскую массу и менее знатных дворян и красуются между собой. В августе к этим темам добавляется бардак в армейской организации. Всё держится только на ежедневном самоотверженном труде нижних чинов и офицерства средней руки — выходцев из народа, свершающих поистине геройские подвиги, но не кичащихся этим. Впрочем, именно этот аспект лишь подразумевается и остаётся в тени обличающего пафоса, ловко упакованного в высокохудожественную форму.

Сам литератор в Крыму больше занимался «военным туризмом»: в делах участвовал (командовал батареей), но ежедневным тяготам войны себя не подвергал, проводя большую часть времени в светских увеселениях и писательских опытах в Симферополе. В том числе потому, что толстовские рассказы заинтересовали высокое начальство, которое велело талантливого сочинителя беречь. Возвращение его в Петербург было триумфальным: граф был принят в литературную тусовку и стал вхож в высокие салоны. Успех вскружил молодому офицеру голову, и его сиятельство полностью отдал себя кутежу и волокитству.

Особо тёплые отношения дружбы связывали Льва Николаевича с Тургеневым и поэтом Афанасием Фетом, который тогда тоже носил военную форму. Позже все трое перессорятся, но в ту пору Толстой гостил у Ивана Сергеевича, а Афанасий Афанасьевич, оказавшись в Петербурге по делам службы, не упустил возможности, чтобы повидать своих собратьев по перу.

«Конечно, три-четыре дня моего пребывания на этот раз в Петербурге я проводил преимущественно в литературном кругу, — вспоминал Фет. — Тургенева я нашёл уже на новой и более удобной квартире в том же доме Вебера, и слугою у него был уже не Иван, а известный всему литературному кругу Захар. Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор. — Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведённого мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот всё время так, — говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареей, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою».

Однако, к несчастью для Льва Николаевича, вскоре выяснилось, что признание критики не означает автоматического интереса публики, а писательская слава не гарантирует успеха у женщин. Дамы отказывали, а книги, отпечатанные многотысячным тиражом, несмотря на относительную дешевизну, не продавались. Нагулявшийся и разочаровавшийся в свете дворянин счёл за благо ретироваться в деревню — в своё имение Ясная Поляна под Тулой.

Ещё в конце николаевского царствования недавний лицеист и начинающий чиновник **Михаил Салтыков** под влиянием «Шинели» Гоголя и «Бедных людей» Достоевского написал повесть на тему «маленького человека» под названием «Запутанное дело». «Россия, — язвил юноша, — государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрёт себе с

голоду в обильном государстве». На фоне Февральской революции во Франции и последовавшего закручивания гаек в России литератора с псевдонимом Н. Щедрина за «распространение революционных идей» сослали в Вятку (Киров) на должность провинциального чиновника. Дослужившись до советника губернатора, он получил дозволение вернуться в Петербург, где был зачислен в министерство внутренних дел — ведомство регионов и полиции — и обобщил свои впечатления из ссылки в сборнике рассказов **«Губернские очерки»**.

В провинции о казне существуют между чиновниками весьма странные понятия. Она представляется чем-то отвлечённым, символическим, невесомым: так, пар какой-то, нечто вроде Фемиды в воображении секретаря уездного суда. Известное дело, что такую особу как ни обижай — всё-таки ничем обидеть не можно; она всё-таки сидит себе, не морищится и не жалуется никому. «Кому от этого вред! ну, скажите, кому? — восклицает остервенившийся идеолог-чиновник, который великим постом в жизнь никогда скоромного не едал, ни одной взятки не перекрестясь не бирал, а о любви к отечеству отродясь без слёз не говаривал, — кому вред от того, что вино в казну не по сорока, а по сорока пяти копеек за ведро ставится!» И начнёт вам доказывать это так убедительно, что вы и руки расставите.

...В губерниях чиновничество дошло до какого-то странного панибратства. Для того, чтобы выпить лишнюю рюмку водки, съесть лишний кусок лакомого блюда, а главное — насытить свой нос зловонными испарениями лести и ласкательства, готовы лезть почти на преступление. «Это не взятка», — говорят. Да, это не взятка, но хуже взятки. Взятку берёт чиновник с осмотрительностью, а иногда и с невольным угрызением совести, а едучи на обед, он не ощущает ничего, кроме удовольствия. Рассудите сами, можете ли вы отказать в чём-нибудь человеку, который оказывал вам тысячу предупредительностей, тысячу маленьких услуг, которые ценятся не деньгами, а сердцем? Нет, и тысячу раз нет. Деньги можно назад отдать, если дело оказывается чересчур сомнительным, а невесомые, моральные взятки остаются навеки на совести чиновника и рано или поздно вылезут из него или подлостью, или казнокрадством.

*...Князь чрезвычайно обрадовался случаю выказать перед дочерью свои административные познания и тут же объяснил, что чиновник — понятие генерическое, точно так же, как, например, рыба: что есть чиновники-осётры, как его сиятельство, и есть чиновники-пискари. Бывает и ещё особый вид чиновника — чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей; но осётры, *ma chère enfant, c'est si beau, si grand, si sublime*, что на такую мелкую рыбёшку, как пискари, не стоит обращать и внимание. Княжна призналась, что она знает одного такого пискаря; что у него старушка-мать, *une gentille petite vieille et très propre* — право! — и пять сестёр, которых он единственная опора. И для того, чтобы эта опора была солиднее, необходимо как можно скорее произвести пискаря, по крайней мере, в щурята.*

...Откупщик разметал на постели нежное своё тело, и снится ему сон... Снится ему, будто чиновникам не нужно давать ни денег, ни водки, а кабаки по-прежнему открываются до обедни и закрываются далеко за полночь...

Произведение Салтыкова-Щедрина должно было выйти в некрасовском «Современнике», в целом делавшем ставку на так называемое «обличительное направление», но противился Тургенев.

— Как это можно читать? Это же сплошь одно грубое глумление, топорный юмор и вонючий канцелярский кислятиной язык. Не литература, а чёрт знает что! — возмущался писатель, слывший тонким знатоком европейской словесности.

Возможно, маститого литератора задело, что на страницах произведения он узнал самого себя. Предвидя возможную реакцию критиков, молодой автор прошёлся по ним ещё при написании рассказов, поместив возмущение негодующих эстетов в уста местного чиновничества:

— *Какое нынче направление странное принимает литература — всё какие-то нарывы описывают! и так, знаете, всё это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дама — vous concevez, mon cher! — это такой цветок, который ничего, кроме тонких запахов, испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу... согласитесь, что это неприятно, — говорит князь Лев Михайлыч. — Вот пошла, например, нынче мода на взяточничество нападать. Ну, конечно, это не хорошо взятки брать — кто же их защищает? mais vous concevez, mon cher, делай же он это так, чтоб читателю приятно было; ну, представь взяточника, и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие, чтобы знал читатель, как это не хорошо быть взяточником... а то так на распутии и бросит — ведь этак и понять, пожалуй, нельзя, потому что, если возмездия нет, стало быть, и факта самого нет, и всё это одна клевета...*

— *Это совершенно справедливо ваше сиятельство изволили заметить, — вступается Порфирий Петрович, которого очень радует изречённая князем аксиома, что безнаказанность есть синоним невинности, — это совершенно справедливо, что голословно можно и самого чистого человека оклеветать.*

Как бы то ни было, «Губернские очерки» появились в «Русском вестнике» Каткова, тогда ещё придерживавшегося умеренно либерального направления. Главред «Современника», Некрасов, в итоге пожалел — очерки были приняты с большим интересом, вышли отдельной книгой и выдержали несколько изданий.

— Теперь даже люди, в душе не любящие прогрессивных идей, должны показывать вид, что любят их, для того чтобы иметь доступ в порядочное общество, — отзывался критик некрассовского журнала Николай Добролюбов, тянувший издание от дворянского либерализма, на котором стоял тургеневский кружок, в сторону исповедуемой разночинской молодёжью революционной демократии.

Собственно говоря, под видом панегириков и филиппик (но больше похвал) на шумевшему произведению шла упорная полемика между этими двумя лагерями, пока ещё уживавшимися под одной крышей. Либералы со страниц своих газет и журналов пытались уверить читателя, что в «Губернских очерках» дано изображение лишь отдельных отрицательных явлений, и тем самым защитить самодержавно-крепостнический строй от посягательств на его основы. Демократы возражали: бороться с Порфириями Петровичами и вообще любыми администраторами, которые не могут править законно на почве данного общественно-политического строя — бессмысленно. Если заменить одного плохого чиновника на другого, как предлагает либеральное дворянство, то ничего не изменится; необходимо менять основы строя. Взяточничество происходит не от злой воли отдельных лиц, а является порождением порочной системы общественно-политических отношений («коррупция — системный фактор», скажали бы потомки). При таком раскладе эти отношения неизбежно извращаются: обременённые тяжёлым положением низы мыслят выход только в превращении «из рыбёшки в акулу». Данный вывод, ни много ни мало, подводил к революции.

Считается, что сам Михаил Евграфович верил в скорый конец мрачной действительности, который начинал проглядываться с наступлением александровского царствования. По крайней мере он завершает книгу тем, что её персонажи «хоронят прошлые времена». Для молодого писателя это был переходный этап — от увлечения утопическим социализмом 1840-х годов через умеренный дворянский либерализм славянофильского направления к разночинской революционной демократии. В течение следующих десяти лет он прослужит рязанским, а затем тверским (откуда он родом) вице-губернатором, после чего выйдет в отставку и полностью посвятит себя литературе.

Что же касается **Ивана Тургенева**, весьма ревностно относившегося к успехам коллег по цеху, то противником социального прогресса он не был. Автор «Записок охотника» — сборника рассказов, стоивших писателю ареста и ссылки, но закрепивший в отечественной литературе точку зрения, что мужик — тоже человек, — проделал долгий путь от «малых форм» к более фундаментальным произведениям типа романов, которые по привычке продолжал именовать «повестями». Своё дебютное в новом для себя жанре произведение, роман «**Рудин**» (1856), он посвятил типичному представителю николаевской плеяды «лишних людей». Лишний человек (названный так по тургеньевскому «Дневнику лишнего человека») — молодой мужчина, принадлежащий к русской знати, но презирающий дворянско-аристократическую среду за её пустоту и бессмысленность существования. Реализовать себя в условиях николаевского самодержавия он не может, а потому уходит со службы, отдаляется от друзей и предаётся сомнительным развлечениям (карты, вино, женщины), но счастье к нему всё равно не приходит, в том числе потому, что он — фразёр, способен только разглагольствовать и принимать красивые позы. Дальше фразы, то есть высокопарных рассуждений, не подкреплённых действием, он не идёт, даже если ему представляется возможность совершить поступок, пускай речь всего лишь о серьёзных отношениях с женщиной. Так, Онегин отвергает Татьяну и на дуэли убивает своего друга Ленского; Печорин сторонится княжны Мери и пикируется с Вернером; Бельтов избегает Круциферской; Рудин не готов связать себя с Натальей и отталкивает от себя Лежнева. Ещё Пушкин, с которого, в общем-то, всё это и началось, сетовал, что «слишком часто разговоры принять мы рады за дела», а теперь, когда одна эпоха сменяла другую, данный тезис становился всё более очевидным.

— *Боже мой! в тридцать пять лет всё ещё собираться что-нибудь сделать!.. Увы! если б я мог действительно предаться этим занятиям, победить, наконец, свою лень... Да, я должен действовать. Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть; я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова... — И слова его полились рекою.*

Тургенев убедительно показал: максимум, что умеют Рудины — шлёпать языком, призывая других к действию.

— *Отрицайте всё, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стоите выше того, что отрицаете. Надел на себя человек маску равнодушия и лени, авось, мол, кто-нибудь подумает: вот человек, сколько талантов в себе погубил! А поглядеть попристальнее — и талантов-то в нём никаких нет.*

Но сами такие деятели ни на что не способны либо же пасуют при первых трудностях. Служить престолу они не могут — а значит не сделали карьеры, впрочем, как не сумели наладить и частную жизнь.

— *Кто тебе мешал проводить годы за годами у этого помещика, твоего приятеля, который, я вполне уверен, если б ты только захотел под него*

подлаживаться, упрочил бы твоё состояние? Отчего ты не мог ужиться в гимназии, отчего ты — странный человек! — с какими бы помыслами ни начинал дело, всякий раз непременно кончал его тем, что жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в недобрую почву, как она жирна ни была?

Даже личные отношения с противоположным полом — и те ложатся бременем непосильной ответственности на плечи «лишнего человека».

— *Как вы думаете, что нам надобно теперь делать?*
— *Что нам делать?* — возразил Рудин, — *разумеется, покориться.*
— *Покориться! Так вот как вы применяете на деле ваши толкования о свободе...*

Окружающие же решительно не могут понять такого поведения, заставляющего видеть в нём опасного чудака.

— *Являлся он к тебе по чувству долга... У этих господ на каждом шагу долг, и всё долг — да долги, — прибавил Лежнев, с усмешкой указывая на post-scriptum.*

— *А каковы он фразы отпускает!* — воскликнул Вольнецев. — *Он ошибся во мне: он ожидал, что я стану выше какой-то среды... Что за ахинея, господи! хуже стихов!*

Впрочем, было на этот счёт и другое мнение — мол, что «люди 40-х годов», сами проводившие жизнь в спорах и разговорах, уже много сделали тем, что подготовили благодатную почву для следующих поколений.

— *Кто вправе сказать, что он не принесёт, не принёс уже пользы? что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы?.. Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится!*

В 1859 году Тургенев разразился ещё одной, в целом похожей на предыдущую повестью, действие которой также разворачивается в уютной атмосфере дворянской усадьбы. Её обитатели спорят о судьбах отчества, а сюжет произведения оживляется любовной линией. Книга так и называется — «Дворянское гнездо». Впрочем, главным литературным событием года станет публикация другой книги — вышедшего из-под пера **Ивана Гончарова** романа «Обломов». Труд писателя, на написание которого он потратил почти десять лет, фактически завершил галерею персонажей типа «лишнего человека».

На первый взгляд может показаться, что каждый последующий персонаж в списке «лишних людей» — слепок с предыдущего. Так, некоторые критики, в частности, ведущий сотрудник «Отечественных записок» Степан Дудышкин, даже выводили Рудина из протагониста «Героя нашего времени». Но, возражали им более внимательные обозреватели в лице Николая Чернышевского, представлявшего некрасовский «Современник», так можно дойти и до того, что «Гамлет, вероятно, покажется написанным под влиянием литературной школы, к которой принадлежал Лермонтов, — ведь Гамлет тоже лишний человек». Действительно, в «портретной галерее лиших людей» Онегина сменяет Печорин, за ним следует Бельтов, а потом появляется Рудин, однако параллели между ними в своё время проводились не затем, чтобы показать их одинаковость, а для демонстрации отличия между характером эпох. Онегин — пресытившийся удовольствиями баловень судьбы и в целом пустой человек, подража-

ющий байронизму. Печорин, напротив, способен действовать, но всю энергию растрчивает на эгоизм. Совершенно по-иному ведёт себя Бельтов, для которого личные интересы сугубо второстепенны, но он не видит поля для общественной деятельности. Беда Рудина в том, что хоть он и предаётся неутомимому труду, но это не приносит никакого результата, ибо за отсутствием практического опыта он не знает, с которой стороны взяться за дело. И тут является Илья Ильич Обломов — предельное воплощение русского барина, не умеющего приложить свою энергию к какой-бы то ни было практической деятельности. Сутки напролёт валяясь на диване в засаленном халате и предаваясь дремотной неге, помещик далёкой губернии *собирается* что-то сделать, но все его фантазии остаются благими намерениями. Однажды отставной коллежский секретарь выходит из зимней спячки, весеннюю порою встречает девушку Ольгу, расцвет их отношений приходится на лето, а осенью всё затухает и прекращается совсем лишь потому, что невозможно переправиться через замерзающую Неву. Обломов по-онегински — якобы для её же блага — бросает Ольгу и отдаляется от деятельного друга Штольца.

«Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием...»

— Где же идеал жизни, по-твоему? Разве не все добиваются того же, о чём я мечтаю? Помилуй! Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая? Все ищут отдыха и покоя, — защищался Обломов.

— Это не жизнь! — упрямо повторил Штолец.

— Что ж это, по-твоему?

— Это... Какая-то... обломовщина».

Обломовщина — это вердикт: если не можешь заняться делом, лучше даже не разглагольствовать, а просто лежать на диване и плевать в потолок. И, так как время фразы прошло, Онегины, Печорины, Рудины и прочие «рассуждающие лежебоки», принимавшиеся раньше за настоящих общественных деятелей, в сознании публики превращаются в Обломова. «Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание», — замечает сам Илья Ильич. К моменту выхода романа даже пропагандисты рудинского типа уже перестали всерьёз восприниматься передовыми людьми.

В конце года на сцене Малого театра в Москве, а следом и в питерской Александринке поставят пьесу **«Гроза» Александра Островского**, уже успевшего заработать себе славу «народного драматурга», потому что в фокус его произведений попадали главным образом купцы как представители исконно русского национального начала. Однако чем дальше, тем больше отрицательных сторон обнаруживалось у выходцев из торгового сословия. В «Грозе» провинциальное купечество символизирует старый патриархальный быт с его пережитками и анахронизмами, не соответствующими веяниям времени. Если исходить из того, что семья — ячейка общества, то несколько изображённых в драме семейств, продолжавших жить по домашней, по сути служили художественным преломлением общественных отношений, в которых всё по-прежнему вращается вокруг тиранов-самодуров, живущих по принципу «что хочу, то творю» и «не обманешь — не продашь», а кроме того, стоящих на пути прогресса.

— Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори.

— Электричество.

— Какое ещё там электричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин?

— *За что, сударь Савел Прокофьевич, честного человека обижать изволите?*

— *Отчёт, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчёта не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и всё. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.*

Обруганный мещанин-изобретатель, хотевший установить в городе громоотвод, потом поясняет зрителю:

— *Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагой не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые ещё большие денег наживать... «Не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь!*

— *Ишь какие рацеи развел. Есть что послушать, уж нечего сказать! Вот времена-то пришли, какие-то учителя появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!*

Это касается общественного, но и в семейственном обстоит не лучше:

— *Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?*

— *Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.*

— *Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живёшь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре, при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой ещё ум-то у тебя, а ты ещё хочешь своей волей жить.*

— *Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!*

Но это всё — пока гром не грянет. Если раньше никто бы и слова не посмел сказать против, то теперь нашёлся человек, отважившийся на поступок. Пускай и не бунт, но протест, граничащий с бунтом. Главная героиня произведения, девушка Катерина, для которой её семья — нечто вроде тёмного и душного подвала, предпочла жизни в неволе броситься с утёса в реку. Конечно, adeпты строгой морали скажут, что накладывать на себя руки — смертный грех, в данном случае — помноженный надвое: самоубийству предшествовало прелюбодеяние, но что всего возмутительней — автор выставляет блудницу жертвой обстоятельств и заставляет её сопереживать.

«Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело её здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судьей, который

милосерднее вас!» — заключает в конце один второстепенный персонаж, который призывал не бояться грядущей грозы. Ему же принадлежит, пожалуй, главная мысль всего произведения.

— *Да пойми ты, Кулигин: я-то бы ничего, а маменька-то... разве с ней сговоришь!..*

— *Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.*

И действительно, общество становилось всё смелее и переходило от бесполезных слов и разглагольствований к практическим делам.

Оттепель. Пришедшиеся на период между началом декабря 1855-го и концом марта 1856 года в империи изменения современники с лёгкой руки поэта и цензора Фёдора Тютчева называли «оттепелью», а оживление общественной мысли, возникшее благодаря «гласности» и приведшее к появлению «общественного мнения», сравнивали с «пробуждением ото сна». Страна вставала с печи, на которой пролежала тридцать лет и три года. Ну или с обломовского дивана — кому как нравится.

Что характерно, ещё каких-то несколько лет назад, в самый разгар «мрачного семилетия», Фёдор Иванович, пожалуй, треть своих стихов посвящавший природе (а остальные писал на тему любви и политики), описывая зимний русский лес, подметил, что тот стоит «неподвижный» и «немой» — прям как вся окружающая действительность:

*Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован, —
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...*

Однако теперь куда больше подходили другие его старые стихи, в которых он говорил о наступающей весне:

*Зима недаром злится,
Прошла её пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всё засуетилось,
Всё нудит Зимы вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...*

И действительно: несмотря на потуги некоторой части александровского окружения затормозить прогресс, становилось ясно, что наступает какая-то совершенно новая эпоха.

— Со всех сторон появились *вопросы*, во всех областях человеческой деятельности, как грибы после дождя, вырастали великие люди, наконец, стало столько журналов, что, кажется, исчерпаны все возможные названия, — с восторгом говорил Лев Толстой, к этому времени оставивший военную службу и задумавший большой роман о вернувшихся из ссылки декабристах. — Кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь.

Возражал только басманный философ Пётр Чаадаев, всегда склонявшийся к скептицизму и на этот раз глядевший дальше остальных:

— Какая же оттепель? Оглянитесь, это всего лишь слякоть. Не ровен час, снова подморозит.

Но пока никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о грядущих политических «заморозках», не наблюдалось. Напротив, ещё одним веянием либерализма стало снятие запрета, наложенного Николаем I в годы «мрачного семилетия», на курение в общественных местах. Александр II и сам любил подымить папироской, а потому, проявляя солидарность с рядовыми курильщиками, росчерком пера упростил продажу табачных изделий и возвёл публичное их потребление в разряд невозбранимых деяний. Что характерно, демонстративное курение сигарет считалось приметой либерализма и даже демократизма (в отличие от трубок, набиванием которых занималась прислуга), равно как и ношение бороды выдавало в прохожем симпатию к республиканским взглядам — очевидно, на контрасте с теми же николаевскими временами, когда наличие растительности на мужском лице подлежало строгой регламентации: усы дозволялись только людям военным, да и то не всем, а бороды были уделом купцов, попов и мужиков.

Среди всего этого общественного оживления чествовали знаменитого актёра Михаила Щепкина (который, между прочим, ещё на исходе николаевского царствования не побоялся в числе первых приехать на поклон к опальному эмигранту Герцену, по сути проторив путь к порогу его лондонского дома, дорога к которому теперь не успевала зарости из-за хлынувшего за границу потока «паломников»). Естественно, за праздничным столом собрались московские литераторы и театралы. Слово взял Константин Аксаков.

— Господа, предлагаю выпить за общественное мнение, — предложил славянофил, — поелику оно суть великое благо и великая сила; оно составляет нравственную свободную проверку всех действий человеческих, подлежащих суду общественному. У общественного мнения нет делопроизводства; оно не наказывает, не сажает в тюрьму, не принимает принудительных мер. Свободное, оно и относится ко всему свободно, вооружённое лишь нравственной силой. Естественно, что общественное мнение драгоценно для правительства, которому нужно знать, чего желает и как думает страна, им управляемая. Пускай же оно высказывается непринуждённо и без стеснения!

Упразднение высшей цензуры в декабре 1855 года стало первой ласточкой грядущих перемен. Второй стала публикация **царского манифеста о подписании мира — в марте 1856 года**. Текст документа намекал на возможность введения честного суда, установления равенства перед законом и расширения образования:

«Чтоб ускорить заключение мирных условий и отвратить даже в будущем самую мысль о каких-либо с нашей стороны видах честолюбия и завоеваний, мы дали согласие на установление некоторых особых предосторожностей против столкновения наших вооружённых судов с турецкими в Чёрном море, и на проведение новой граничной черты в южной, ближайшей к Дунаю части Бессарабии. Сии уступки не важны в сравнении с тягостями продолжительной войны и с выгодами, которые обещает успокоение Державы, от Бога нам вручённой. Да будут сии выгоды вполне достигнуты совокупными стараниями нашими и всех верных наших подданных...

При помощи Небесного Промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется её внутреннее благоустройство; *правда и милость да царствуют в судах её; да развивается повсюду и с новою силою стремление к просвещению* и всякой полезной деятельности, и каждый под сению законов, для всех равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных. Наконец, и сие есть первое, живейшее желание наше, свет спасительной веры, озаряя умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную нравственность, сей вернейший залог порядка и счастья».

— Не знаю, что будет дальше, но первый манифест всем по сердцу, — не скрывал радости славянофил Иван Аксаков.

Июнь того года император провёл в Царском Селе, куда двор традиционно перебирался с наступлением лета, в июле откочевал в Петергоф, служивший местом парадной резиденции, но в «лесной» части которого, в парке Александрия, затерялся уютный особнячок в английском стиле, где царское семейство предавалось иллюзии уединённой частной жизни. Вторую же половину августа Александр Николаевич — так было заведено — посвящал посещению Москвы. Обычно — по случаю военных манёвров, но в данном случае повод был поважнее: коронация.

Коронация. Александр II царствовал уже полтора года, а всё ходил некоронованный — мешала война. Церемонию **венчания на царство** провели 26 августа 1856 года в первопрестольной — традиционном месте помазания российских государей и родном городе нынешнего императора. Как водится, кортеж его величества тронулся от Петровского путевого дворца.

Государь в сопровождении двух старших сыновей, Николая и Александра, въезжал в древнюю столицу верхом на коне, под колокольный перезвон «сорока сороков» и гром оружейных залпов, приветствуемый заполонившими улицы москвичами.

Официальная граница Москвы проходила тогда по нынешнему Садовому кольцу, внутри которого помещался Земляной город. Поскольку наиболее удалённый от центра район считался преимущественно ремесленным, так сказать, посадским, у въезда в него, на Триумфальной площади, императора встречала депутация городской думы и магистрата. За периметром Бульварного кольца скрывался так называемый Белый город. Само название этого второго района намекало, что исторически тут селилась не чернь, а «белое», то есть неподатное население, поэтому на Пушкинской площади царю салютовало местное дворянство. Далее, проскакав по Тверской и Охотному ряду, государь приблизился к Кремлю — административной твердыни русского государства. Соответственно статусу и значению места, здесь его — с хлебом и солью — встречали сенаторы. Наконец, оставив позади Спасские ворота, монарх оказался у главного храма страны — Успенского собора, где его дожидался московский митрополит Филарет.

В конце торжественного акта иерарх вложил в правую руку государя скипетр, в левую — державу, а потом передал и корону, которую самодержец собственноручно водрузил на голову. Пускай вся власть от бога, но то, что кесарю — кесарево, тоже помнить надо.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! — заключил священнослужитель.

В этот момент старик генерал Михаил Горчаков, на чью долю выпало оставление Севастополя, не выдержал в накуренном ладаном и набитом людьми душном помещении храма и рухнул без чувств, выронив при этом подушку с царскими регалиями. Александр не растерялся:

— Не беда, что свалился, главное, что стоял твёрдо на полях сражений.

Конечно, такое масштабное мероприятие не могло обойтись без отдельных проколов. В части народных гуляний тоже были допущены мелкие недочёты.

— Может быть, мне следовало бы описать тебе вчерашний народный праздник, но я на нём не был и хорошо сделал, ибо, как я и предчувствовал, этот якобы народный праздник

был так же безобразно устроен, как и нелепо задуман, — критиковал происходящее Фёдор Тютчев, перебравшийся в Москву вместе со всем сановным Петербургом. — Это была раздача всевозможной еды, подпорченной дождём, который поливал её в течение двух дней, и этим угощали двести тысяч человек, топтавшихся в грязи и всяких отбросах.

Предводитель славянофильской братии Алексей Хомяков, пробавлявшийся не только философскими измышлениями, но порой и баловавшийся стишками, смотрел на вещи более позитивно. Он откликнулся на торжества верноподданныческими виршами:

*Народом полон Кремль великий,
Народом движется Москва,
И слышны радостные клики,
И звон и громы торжества.
Наш царь в стенах издревле славных,
Среди ликующих сердец,
Приял венец отцев державных —
Царя-избранника венец.*

По случаю коронации Александр II объявил о раздаче титулов и наград высшим сановникам империи, а с другой стороны **помиловал декабристов и петрашевцев** — они уже отбыли тюрьму и каторгу, а теперь доживали ссылку.

Настроение было праздничное, радости либерального дворянства не было предела. Передовая публика испытывала восторг по поводу начавшейся «оттепели» и «гласности», а благородные мужи пили за здоровье монарха. На одном из торжественных мероприятий, устроенном местным дворянством в честь приезда государя, принадлежащий к московскому кружку западников литератор Николай Павлов, некогда хозяин одного из главных художественных салонов старой столицы и автор популярных романсов, упоённо провозглашал:

— С Петра Великого вы не назовёте никакой эпохи в нашей истории, где так много было сделано в такое небольшое время. Поднимем же наши бокалы во здравие и во славу того, чьё высокое имя начертано под словами «отменить, простить, возратить», кто не забыл в пустынях Сибири ни согрешивших отцов, ни безгрешных детей.

ГЛАВА 3. Главная из реформ. Крестьянский вопрос (1857—61)

*Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдёт ли наконец прекрасная Заря?
Александр Пушкин*

Амнистирование политзаключённых — дело хорошее, ставшее поводом для осушения многих бутылок шампанского, однако главным среди пожеланий беспокоившихся за судьбы отечества людей было — покончить с **крепостным правом**, в котором усматривался тот корень зла, что сдерживал развитие страны и мешал её дальнейшему прогрессу. Среди помещиков, с возрастающей тревогой следивших за всё новыми либеральными решениями самодержца, в очередной раз начинали ходить слухи, что власть что-то готовит. Московский генерал-губернатор Арсений Закревский даже попросил его величество как-то успокоить местное дворянство. Александр согласился. Обращаясь к благородному собранию первопрестольной, император заявил:

— Я узнал, господа, что между вами разнеслись слухи о намерении моём уничтожить крепостное право. В отвращение разных неосновательных толков по предмету столь важному считаю нужным объявить всем вам, что я не имею намерения сделать это сейчас. Но, конечно, вы и сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. **Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнёт само собой уничтожаться снизу.** Прошу вас, господа, обдумать, как бы привести всё это в исполнение. Передайте слова мои дворянам для соображения.

Представители благородного сословия слушали раскрыв рты и не верили своим ушам: царь почти прямым текстом анонсировал уничтожение крепостничества.

По возвращении Александра в Петербург министр внутренних дел Сергей Ланской расспрашивал государя, мол, правда ли, что его величество огорошил московское дворянство такой неожиданной вестью.

— Да, и не жалею об этом. Всё будет кончено в шесть месяцев, — постановил самодержец и поручил готовить доклад о положении дел в крестьянском вопросе.

А положение такое — к началу александровского царствования три четверти дворянских имений было заложено и перезаложено. Дворянство год за годом оскудевало, спуская весь доход от поместий, постоянно сокращающийся, на поддержание образа жизни, подобающего высокому статусу господина.

*Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец,*

— писал ещё Пушкин, а Некрасов вспоминал, как его отец-помещик пересказывал их родословную:

— Предки наши были богаты. Прапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прадед — две, дед (мой отец) — одну, я — ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже люблю...

Выходило, что благородное сословие проело свои дворянские гнёзда, уютные барские усадьбы, выстроенные дедами-орлами екатерининской эпохи, всего за каких-то сто лет — три-четыре поколения. Как напишет потом Александр Блок:

*Дворяне — все родня друг другу,
И приучили их века
Глядеть в лицо другому кругу
Всегда немного свысока.
Но власть тихонько ускользала
Из их изящных белых рук,
И записались в либералы
Честнейшие из царских слуг,
А всё в безгласности природной
Меж волей царской и народной
Они испытывали боль
Нередко от обеих волей.*

А ведь было время, когда мужикам лишний раз на барина пожаловаться воспрещалось под страхом сибирской каторги. Хочешь — казни, хочешь — отдавай его в рекруты. Приглянулась какая из крепостных девок — твоё барское право. Люди просвещённые, конечно, понимали, что это — чересчур. Ещё император Павел своим «указом о трёхдневной барщине» (1797) рекомендовал помещикам ограничить подневольный труд крепостных. Александр I разрешил проникнутому идеалами гуманизма дворянству и вовсе отпускать своих крестьян на волю, правда, вместе с землёй — так называемый «указ о вольных хлебопашцах» (1803). Ведь без надела мужик себя не прокормит и, паче чаяния, может податься в революцию. Однако кто же из помещиков будет разбрасываться драгоценными десятинами? Николай I учёл ошибку старшего брата и «указом об обязанных крестьянах» (1842) дозволил даровать душам личную свободу, оставляя всю землю в собственности помещика, которую сельские обыватели могли арендовать, продолжая, как и раньше, нести феодальные повинности в виде барщины или оброка. Однако благородное сословие, с каждым поколением всё более проматывавшее родительские состояния и оскудевавшее материально, из всех сил пыталось удержаться в высших стратах «приличного» общества, а потому за полстолетия по законам двух Павловичей было отпущено не более 150 тысяч частновладельческих крестьян — менее доли процента. Духу не хватило даже на то, чтобы чётко регламентировать обязанности крестьян перед их господами: озвученную инициативу, предлагавшую составить соответствующие «инвентари» и тем самым ограничить возможность злоупотреблений, зарубили на корню.

Некоторые сравнивали тяжкое положение крепостных с участием американских чернокожих рабов: что мужики, что негры — и те и другие низведены до состояния бесправных говорящих орудий, благополучие которых зависит лишь от воли доброго барина. Тема рабства горячо обсуждалась не только у нас, но и в Соединённых Штатах, а также в Европе. Особую актуальность она получила после выхода в свет книги американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу «**Хижина дяди Тома**» (1852), которая стала фактически манифестом аболиционистов, выступавших за отмену рабовладения. При Николае нашумевший роман был негласно запрещён как подрывающий устои государства и религии, а с воцарением Александра стал свободно печататься в русских журналах. В 1857 году он появится на страницах «Русского вестника», а затем — в «Современнике». Барон Николай Врангель — сын высокопоставленного николаевского администратора и крупного помещика одного из уездов питерской губернии — на тот момент был ребёнком, но сохранил в своих воспоминаниях эпизод семейного чтения этой книги. Рассевшись в большой зале барской усадьбы, взрослые сёстры поочередно читали

вслух, гувернантка вместе со злой и строгой тёткой слушали, а в углу затаив дыхание прятались младшие дети.

«Большие возмущались рабовладельцами, которые продают и покупают людей, как скотину, плакали над участью бедного Тома, удивлялись, как люди с нежным сердцем могут жить в этой бессердечной Америке.

— У нас тоже продают и покупают людей, — фистулой сказала Зайка.

— Что за глупости ты болтаешь? Откуда ты это взяла? — сердито спросила сестра.

— Продают, — упорно повторила Зайка.

— И быют, — поддержал я Зайку.

— Перестань болтать вздор. Где ты видел, чтобы кого-нибудь били? Разве тебя когда-нибудь били?

— Нашего конюха Ивана высекли, а вчера отец...

— Как ты смеешь так говорить о своём отце, сморчок! — сказала тётя Ехида.

Видя, что я вызвал гнев тётушки, Зайка храбро бросилась мне на помощь:

— А разве папа не купил Калину?

— Это совсем другое дело. Папа его купил потому, что офицер был беден и ему были нужны деньги.

— Это неважно. Важно, что человека продали и купили, как и в Америке.

— Это ничего общего с Америкой не имеет, — сказала тётя.

— Имеет, имеет, — сказал я.

— Негров привезли издалека, их насильно оторвали от их любимой родины, а наши мужички русские, как и мы, — сказала старшая сестра.

— Моя дорогая, ты совершенно напрасно пытаешься объяснить этим бесстыдным детям то, что ясно, как божий день, — сказала тётя.

— Не отлынивайте, — сказал я. — А почему конюха высекли?

— Он заслужил. Но его наказали не из жестокости, как бедного Тома.

— А почему отец...

— Что?! Да как ты смеешь осуждать отца! — крикнула Ехида и встала. — И тебя за это нужно высечь. Я сейчас пойду к отцу...

— Оставьте, тётя, — сказала Вера, — а вы — марш в детскую в угол.

Так мы и не узнали конца истории бедного Тома, которого нам так было жалко. Зато мы были наказаны за правду».

Суть вопроса без труда схватывали даже дети, а устами младенца, как известно, глаголет истина. Понимали это и взрослые, другое дело, что не каждый дерзал произносить правду вслух и называть вещи своими именами. Однако в целом вся более-менее просвещённая публика, включая самих душеприказчиков, сходилась во мнении, что крепостных нужно освобождать. Если раньше это был вопрос христианской морали, то теперь дело переходило в финансовую плоскость: основанные на дармовом труде помещичьих хозяйства становились экономически неэффективными. Российское сырьё на внешних рынках уже начинало проигрывать дешёвому и качественному товару английской промышленности. Вопрос был в другом — а как освободить? Предварительно наделив землёй или пустив по миру с голым задом? Издержками второго пути было то, что не только помещики, но и крестьяне считали землю своей.

Когда-то давно государство, не имея чем платить воинам и чиновникам, прикрепило мужиков к земле, а землю с мужиками пожаловало дворянам за их службу на благо отечества. Получалось, что крестьянство своим трудом кормит дворянство, благородное сословие свершает ратные подвиги и служит государю, а тот держит ответ перед богом. Это — модель тяглового государства, в котором каждое сословие тянет свою ношу. Однако вот уже почти сто лет, как дворянство получило вольность от службы, но продолжало пользоваться всеми при-

вилегиями. Соответствующий манифест Петра III был подписан 18 февраля 1762 года — с тех пор в мужицкой среде не переставали ходить слухи и о крестьянской свободе.

1857 — тайный комитет для подготовки реформы. В январе 1857 года Александр II повелел учредить **негласный комитет по крестьянскому вопросу**, в котором собрал высших сановников империи под председательством Алексея Орлова, новоиспечённого князя и главы царского правительства. Многие из вельмож помнили ещё николаевские секретные комитеты, а потому принялись действовать по старинке. Обычно было так — сначала подшивали многочисленные материалы, потом на их основе готовили соображения, как лучше повернуть: так или эдак, а в конце, сойдясь на том, что крепостничество — безусловное зло, выдавали какую-нибудь паллиативную припарку и откладывали дело в долгий ящик. Глядишь — прошёл десяток лет, а ничего и не поменялось. В общем, в бюрократическом ворохе бумаг удавалось заматывать любую царскую инициативу, а если государь настаивал, то его пугали революцией. В данном случае настойчивость императора переходила всякие границы, поэтому ушлые царедворцы поспешили повернуть интригу, результатом которой стало то, что главный специалист империи по крестьянскому вопросу — бывший министр государственных имуществ и реформатор государственной деревни граф Павел Киселёв в состав секретного комитета не вошёл. Когда поползли первые слухи о грядущих переменах, его сиятельство сосватали послом в Париж. Пост, безусловно, важный, но главные вопросы сейчас решались не там.

Освободившееся место во главе мингосимуществ отдали старому генералу и опытному администратору **Михаилу Муравьёву**, который выступал за «постепенное» решение аграрного вопроса. В переводе с бюрократического на общедоступный язык это значило — отложить реформу, уже давно назревшую и перезревшую, ещё лет на десять, руководствуясь известным принципом, гласящим, что либо шах помрёт, либо ишак сдохнет. Впрочем, в непосредственную сферу ответственности «госимуществ» входили только крестьяне, принадлежавшие казне, а в отношении частновладельческих, тех самых крепостных, направляющая роль принадлежала другому ведомству — министерству внутренних дел, поэтому противникам преобразований всё равно приходилось держать руку на пульсе.

Спустя полгода, летом 57-го, во время визита Павла Дмитриевича в Петербург, Александр жаловался, что дела в комитете продвигаются туго.

— Крестьянский вопрос меня постоянно занимает, — откровенничал самодержец. — Надо довести его до конца. Я более чем когда-либо решился и никого не имею, кто помог бы мне в этом важном и неотложном деле. Напротив, ото всех только и слышу, что о препятствиях и опасениях.

Поскольку комитет был секретный, то знали о нём лишь на самых верхних этажах российского государственного здания, но отнюдь не спешили, поэтому император постоянно думал, во-первых, действительно ли нужно доводить затеянное дело до конца, а во-вторых, если да, то как сдвинуть его с мёртвой точки. Очевидно, на следующем этапе вставал бы вопрос о вовлечении в процесс широких кругов дворянства и выводе обсуждения в публичную плоскость. Но как это будет воспринято помещиками? Нужно было прощупать общественные настроения. Принимая недавно избранного предводителя тверского дворянства Алексея Унковского, спешившего представиться государю, император не преминул поинтересоваться его мнением насчёт крестьянского вопроса. Впустив посетителя в свой кабинет, царь подошёл к дверям и щёлкнул замок.

— Теперь патриархальные отношения между помещиками и крестьянами должны уничтожиться, — заговорил самодержец почти шёпотом, озираясь по сторонам, словно опасаясь, что кто-то может подслушать, — надо подумать об изменении этих отношений. Надо надеяться, что дворянство пойдёт впереди. Как думаете, чего можно ожидать?

— Полагаю, ваше величество, что едва ли можно ожидать бунта от человека, которого только что освободили.

В ответ Александр засмеялся. Меньше всего он опасался бунта крестьян, а более ожидал какого-нибудь фортеля от помещиков, которые и пугали его мужицкой революцией.

— Надеюсь на содействие дворян. Необходимо улучшить положение крестьянства, — намекал царь на желательность освобождения с землёй.

А между тем, всё, что были готовы дать мужикам «лучшие государственные умы», ограничивалось «птичьей свободой», да и за последнюю они собирались содрать с крестьянина три шкуры. Это категорически не устраивало императора, который понимал, что с безземельным крестьянством революции действительно не миновать.

Тайное становится явным — рескрипт Назимову. Время шло, вопрос упирался в жадность и скудоумие помещиков, а земля русская полнилась слухами, пугавшими рядовое дворянство и возбуждавшими нетерпение просвещённой части благородного сословия.

*Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдём ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?*

— вопрошал в это время Фёдор Тютчев, посещая родовое гнездо Овстуг, на Брянщине. Стихи напечатает его зять Иван Аксаков в очередной книжке славянофильской «Русской беседы».

Виленский генерал-губернатор Владимир Назимов, до начала административной карьеры служивший в гвардии и некоторое время входивший в свиту тогда ещё великого князя, а потому лично знавший нынешнего государя, устал от шушуканий, перешёптываний и передававшихся из уст в уста кривотолков и поздней осенью отправился за разъяснениями в Петербург, чтобы узнать всё из первых рук. С собой он привёз адрес на высочайшее имя, в котором литовско-белорусское дворянство, желая подстраховаться и выбирая меньшее из зол, выражало готовность без промедления предоставить крестьянам свободу — при условии, что правительство не тронет ни одной десятины помещичьих угодий. Этот адрес в буквальном смысле пришёлся ко двору. Александр, отвергнув идею освобождения крестьян без земли, ухватился за него и велел своим министрам — внутренних дел Сергею Ланскому и государственных имуществ Михаилу Муравьёву — готовить ответную бумагу. Смысл её сводился к «рекомендации»: мол, создавайте губернские комитеты из числа местных помещиков и присылайте в столицу свои идеи по поводу крестьянской реформы. Дабы разгулявшаяся мысль не ушла в безграничный полёт фантазии, к рекомендации прилагались соображения царя, которыми можно (и нужно) было руководствоваться. Они очерчивали рамки желаемого. Во-первых, **личность крестьянина свободна по умолчанию** — это даже не обсуждается. Во-вторых, **земля — собственность помещика**, что тоже сомнению не подлежит, но **крестьянство должно получить свой приусадебный надел**, за который будет платить **выкуп**, а до его уплаты будет, как и раньше, отрабатывать аренду занимаемого участка. Если предложенная формула помещикам не по душе, то они должны представить аргументированное обоснование своей позиции — что в реалиях самодержавного государства значило бы бросить вызов воле монарха.

В ноябре копия императорского **рескрипта Назимову** с сопроводительным комментарием министра внутренних дел была разослана по всем губерниям «для сведения» на случай, «если бы дворянство вашей губернии изъявило подобное желание», а в декабре документ официально опубликовали в газетах. На первый взгляд, император ничего не повелевал, но в то же время власти недвусмысленно давали понять, что процесс запущен, а оставаться в стороне — себе дороже, ведь всегда найдётся кучка либералов, которая, дай им волю, освободит твоих крестьян и подарит им сокровенные десятины.

Делать нечего. Дворянство стало организовываться в **губернские комитеты**, а заседавший в столице негласный комитет потерял секретность и стал именоваться **главным комитетом**.

1858 — борьба в губерниях. Настроения на местах царили аховые — казалось, что всё пропало и единожды заведённый предками вековой порядок, которым жили — не тузили отцы и деда, уже не будет прежним.

— Ну всё, господа. Финита ля комедия, как говаривал Михал Юрич Лермонтов. Концерт окончен! Это не реформа, это смертный приговор нам подписан. Одно утешает — на фонарных столбах висеть будем рядом с реформаторами!

— Это что ж получается, теперь крестьяне делаются сами вроде помещиков?

Нужно сказать, что мелкопоместное дворянство тогда составляло почти половину душевладельцев, в руках которых, однако, находилось лишь несколько процентов всех крепостных. Крупные помещики, наоборот, составляли всего несколько процентов от числа дворян, но владели примерно половиной крестьянского «поголовья». Оба этих слоя выступали против реформы. Верхний терял основу богатства, нижний — последние крохи. Либералы, ратующие за освобождение крестьянских душ, происходили из числа помещиков средней руки.

В ходе разгоревшейся полемики предводитель дворянства петербургского уезда и один из вождей консервативной партии Николай Безобразов выступил со своего рода крепостническим манифестом, доказывая что ничего путного из этой затеи не выйдет:

«Россия родилась не вчера, и опочит, вероятно, не завтра, а потому ни пелёнки ей не пристали, ни костылей для неё не нужно. Государственная её жизнь развивается уже без малого тысячу лет; в течение этого времени она выработала свой гражданский быт и выразила в нём свой дух, свои самобытные начала (или свои принципы, как говорят наши радикалисты). К числу этих начал принадлежит коренной устав наших вотчинных отношений, который проявляет связь двух сословий. Из них одно, высшее, олицетворяет местную правительственную силу, а другое, подведомственное, силу производительную. Связь между ними сословиями тверда и велика. Это понятно: просвещённый ум, капитал и предприимчивость связуются естественными узами с непосредственным трудом, прямым возделыванием и работою телесною».

Тем не менее напуганные душеприказчики от греха подальше спешили **переселить крестьян на отшибы** с землицей похуже, **сократить их наделы** или **записать в дворовые**, которые, как известно, вообще лишены какого-либо имущества. Другие, опасаясь народного восстания, даже боялись летом ехать к себе в деревню, а кто-то и вовсе собирался переждать этот, как им казалось, театр абсурда, за границей.

*И всё чудится, будто встают мужики,
И острят топоры, и собирают полки...
Что-то страшное будет...*

Так гласили сочинённые кем-то стихи. Они были напечатаны в «Колоколе» и очень точно передавали распространившиеся в дворянской среде панические настроения, нашедшие отражения и в литературе того времени.

— А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность, — говорил персонаж Фёдора Достоевского, проводя указательным пальцем вокруг шеи.

— Это нисколько не принесёт пользы, — возражал собеседник. — Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать.

Опасения не совсем беспочвенные — в течение года то тут, то там вспыхивали крестьянские волнения, но это ещё на фоне войны началось, да и на революцию и пугачёвщину они не тянули.

Царь летом два месяца колесил по стране, лично агитируя помещиков за реформу и в то же время осаждая не в меру рьяных её проповедников, дабы не будоражили наиболее впечатлительные умы. С его подачи открытое обсуждение крестьянского вопроса в печати находилось под запретом.

— Есть стремления, — разъяснял император в разговоре с Александром Никитенко, университетским профессором и цензором образовательного ведомства, вовлечённым в процесс реформирования цензуры и создания комитета по делам печати, — которые не согласны с видами правительства. Надо их останавливать. Но я не хочу никаких стеснительных мер. Я очень желал бы, чтобы важные вопросы рассматривались и обсуждались научным образом; наука у нас ещё слаба. А «лёгкие» статьи должны быть умеренны, особенно касающиеся политики.

Как итог, публицистам приходилось писать про «устройство отношений между помещиками и крестьянами», «улучшение сельского быта», «экономические преобразования» и «рентабельный труд», но все всё понимали. Другая категория общественных и государственных умов предпочитала не размениваться на статьи в журналах, пытаясь повлиять на мнение публики, а адресовала свои мысли напрямую хозяину престола. Вообще, в это время любой уважающий себя деятель считал непрямым долгом представить на суд государя собственный проект реформ, коих за несколько лет были написаны десятки. Большое количество соображений на этот счёт выходило из либерального окружения великой княгини Елены Павловны и великого князя Константина Николаевича.

Елена Павловна была вюртембергской принцессой, родом из Штутгарта. Утончённая любительница прекрасного, воспитанная на идеалах просвещения, она состояла в браке с великим князем Михаилом, дядей нынешнего царя, которого знали как человека хорошего, но с натурой грубого и ограниченного солдафона. После скоропостижной кончины своего благоверного в 1849 году великая княгиня осталась единоличной владелицей великолепного **Михайловского дворца** (где сегодня размещается Русский музей) и, уже давно сlying покровительницей искусств, стала хозяйкой либерального салона, который, собираясь каждый четверг, служил главной площадкой столицы для обсуждения насущных и животрепещущих вопросов политики и культуры, а также общения дворянской интеллигенции и придворных кругов. Среди вхожих в высшие сферы государственной власти имелось мощное либеральное крыло, настроенное на поддержку реформ.

Прежде, в николаевское царствование, главным «рассадником» этой «**либеральной бюрократии**» являлось *Второе отделение* императорской канцелярии, некогда возглавлявшееся Михаилом Сперанским, потом эту роль подхватило *министерство государственных имуществ* в бытность его главой графа Павла Киселёва, а теперь центром притяжения просвещённого чиновничества стало *морское министерство*, возглавляемое братом государя **Константином Николаевичем**. Поскольку Александр II родился, когда отец его ещё не имел прав на корону, а Константин появился уже в семье императора, поговаривали, что именно младшему брату полагалось восседать на престоле. Однако великий князь с детства был определён по морской части, к концу царствования августейшего родителя его высочество дорос до чина генерал-адмирала — это как фельдмаршал, только на море — и, встав у руля родного ведомства, принялся за реформирование русского флота, нуждавшегося в переходе с деревянно-парусных кораблей на винтовые фрегаты и стальные пароходы.

Первой мерой августейшего министра было: сократить штат адмиралтейства, ибо «не флот существует для администрации, а администрация для флота». Во-вторых, сэкономленные средства предписал пускать на дальние морские плавания, потому что моряки должны

учиться, а государство — демонстрировать свой великодержавный флаг. Третье нововведение касалось организации современного отечественного кораблестроения, независимого от иностранных верфей. К слову, к концу крымской кампании Черноморский флот перестал существовать как явление, а из двухсот кораблей Балтийского флота лишь девять относились к классу пароходофрегатов — и то большей частью колёсных, оказавшихся тупиковой ветвью развития, потому что будущее было за гребными винтами. Начинать приходилось практически с нуля — и пока мы осваивали производство винтовых фрегатов, судов ещё деревянных, западные державы уже переходили на броненосные крейсера, призванные обеспечить господство на море.

В общем, дел у Константина было невпроворот. Что характерно, если все романовские отпрыски чтили парадно-мундирную сторону военного дела, то этот, хилый и близорукий очкарик, с детства пропадал за чтением книг, хотя жил в **Мраморном дворце** — знаменитом, но успевшем пообветшать классическом творении Антонио Ринальди, вытянувшемся вдоль Дворцовой набережной. Казалось бы, под боком Марсово поле, где постоянно проходили гвардейские смотры, ан нет: великий князь больше увлекался всякими вольнодумными идеями. Вокруг себя его высочество собрал целую команду соратников, которые и образовали кружок «либеральных бюрократов» или, как их ещё называли, «**константиновцев**». Изначальным их пристанищем служили стены **Русского географического общества**, инициатором создания которого ещё во времена николаевского царствования выступил адмирал Фридрих фон Литке, наставник великого князя и будущий президент Академии наук, а его воспитанник — Константин — стал первым председателем РГО. В качестве рупора реформистских идей «либеральные бюрократы» использовали официальный печатный орган ведомства — недавно основанный журнал «**Морской сборник**». Моряки вообще народ просвещённый, многие флотские офицеры — англоманы, адепты парламентаризма и буржуазной экономики, а заведённые на флоте порядки не в пример либеральней армейских: исторически дворянская элита шла в гвардию, знать попроще — в армию, а помещики, чьё состояние не превышало десятков-другой душ, определяли своих чад, не страдавших от излишка барских замашек, в моряки. Всё это накладывало отпечаток на атмосферу, царившую в министерстве.

1859—60 — борьба в центре. В июне 1859 года император торжественно открыл **конный памятник Николаю I**, установленный на площади между Мариинским дворцом и Исаакиевским собором. Бронзовый всадник со вздыбленным скакуном, который опирается на постамент лишь двумя задними ногами — творение скульптора **Петра Клодта**, в некотором роде ставшее чудом ваятельного искусства: конные статуи с двумя точками опоры были весьма сложны в исполнении. Однако петербургские обыватели обыгрывали не сложность применённой техники, а расположение монумента — на одной линии с Медным всадником, то есть Петром Великим. «Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает», — язвили простолюдины.

Понятно, что царственный сын отдавал дань памяти покойному родителю, однако прогрессивно настроенная публика опасалась, что за этим жестом проглядывается некий политический символизм: уж не благоволит ли Александр Николаевич крепостникам, буквально молившимся на его отца? Во всяком случае публицист Николай Чернышевский — он становился властителем дум, влияя на общественные умы со страниц «Современника» — демонстративно старался обходить монумент, напоминавший о злополучном правлении тирана, за несколько кварталов, чтобы только на него не смотреть. Зато весьма жаловал другой культурный артефакт — годом ранее в город на Неве привезли **картину Александра Ивάνова «Явление Христа народу»**. Художник работал над ней двадцать лет в своей римской мастерской и всё ещё считал её незаконченной. На ней он изобразил толпу людей, собравшихся на берегу Иордана; центральное место среди них занимает Иоанн Предтеча, указывающий на появление Мессии. За его спиной — апостолы, будущие Христовы ученики. Сам Иисус впервые в истории отечественной живописи предстаёт не в виде бога, а скорее как проповедник

нового учения, дающего людям надежду на счастье. Собственно, главное тут — даже не сам Христос (он остаётся на втором плане — и это вопиющее нарушение всех устоявшихся доселе канонов), а реакция на его появление. Все простые люди воодушевлены, они ждут «слова свободы», чего нельзя сказать о напуганных господах. Фарисеи — те так вообще не хотят даже взглянуть на Спасителя и остаются к нему спиной. Когда монументальное полотно показали императору, он особо интересовался значением фигуры раба — замученного жизнью мужчины в синей рубашке, который, будучи обязан прислуживать хозяину, пока ещё не может обернуться, чтобы увидеть Христа своими глазами, но безмерно рад одной только возможности услышать его речи, сулящие наступление новой эры в истории человечества. Перед невольником его величество простоял несколько минут, вероятно, размышляя о том самом «крестьянском вопросе». Учитывая, что Россия сейчас стояла на пороге больших исторических перемен, грозивших перевернуть с ног на голову весь освящённый веками уклад общественных отношений, и подданные царя тоже реагировали на эту «благую весть» по-разному, напрашивавшиеся параллели были очевидны. «Революционное» полотно вызвало бурные обсуждения и споры, точку которым поставил сам государь: Александр II соизволил приобрести шедевр для своей коллекции, а его творца даже приставил к награде. Правда, художник об этом уже не узнал: несколько месяцев ему трепали нервы доморощенные академики, не спешившие признавать новые веяния в искусстве, а затем он умер от разбушевавшейся в городе холеры.

Сам же государь, как обычно, на всё лето удалился в Царское Село, временами навещая в Петергоф, вернее затерянную в его парках Александрию, где располагалась «частная» резиденция государя, а в Петербург вернулся к началу осени — предстояли, во-первых, празднования по случаю политического совершеннолетия наследника престола, великого князя Николая Александровича, а во-вторых, в имперскую столицу начали съезжаться выборные от губернских комитетов. Спустя два с половиной года после начала процесса **при Главном комитете** были созданы **Редакционные комиссии**, которые, получив пожелания с мест, от губерний, должны были составить окончательный текст будущего закона о крестьянской реформе.

Во главе комиссий был поставлен **Яков Ростовцев** — тот самый дворянин, что когда-то сообщил батюшке нынешнего царя о заговоре декабристов, а потом заведовал вопросами военного образования. Годом ранее он изучал нюансы земельного вопроса в немецких княжествах, вернувшись на родину с «радикальными» взглядами, которые, впрочем, совпали с настроениями царя, которому не терпелось поскорее повернуть со скрипом двигавшуюся реформу. Ростовцев докладывал царю:

— Главное противоречие состоит в том, что у комиссий и у некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий — государственная необходимость и государственное право; у них — право гражданское и интересы частные, они правы со своей стороны, мы со своей. Смотря с точки зрения гражданского права, вся начатая реформа, от начала до конца, несправедлива, ибо она есть нарушение права частной собственности, но, как необходимость государственная, реформа эта законна, священна и необходима.

Когда из Петербурга в Москву приехал близкий ко двору барон Модест Корф, пушкинский однокашник и секретарь крестьянского комитета, которого Александр поставит во главе Второго — юридического — отделения императорской канцелярии, а затем сделает председателем департамента законов Государственного совета и пожалует графским титулом, его встретил пребывавший в отставке царедворец Александр Меншиков.

— Ну, что нового у вас? — спросил бывший глава морского министерства.

— Нового ничего нет, кроме множества новых комитетов, — отвечал Корф, — и ко всякому из этих комитетов приобщают Якова Ивановича Ростовцева.

— Вы Якова Ивановича-то приобщайте, — в свойственной ему острословной манере наставлял сановный адмирал, несмотря на свою просвещённость бывший противником освобождения крестьян, — да не исповедуйте его.

Придать дополнительный импульс реформе было призвано ещё одно кадровое решение. Почти одновременно заместителем министра внутренних дел был назначен представитель «либеральной бюрократии» **Николай Милютин**. Николай Алексеевич, выходец из семьи московских дворян средней руки, был племянником графа Киселёва, николаевского министра и реформатора государственной деревни, под чьим влиянием и сформировались его взгляды. Всю карьеру прослужил в МВД, где долгие годы занимал пост директора департамента, а обратил на себя внимание запиской, в которой предлагал освободить крестьян с землёй за выкуп. Решающим фактором стало то, что чиновник вращался в салоне великой княгини Елены Павловны, где сблизился с великими князем Константином Николаевичем и министром внутренних дел Сергеем Ланским, который и просил за своего протеже у царя.

— Он же красный, — скептически заметил Александр, подписывая назначение Милютина. К слову, «красным» в придворных кругах считался всякий, кто не был вельможным холопом.

— Ваше величество, ручаюсь за него как за самого себя, — заверил старик, в молодости принадлежавший к декабристским организациям, откуда нахватался азов свободомыслия.

В своей борьбе с крепостниками Милютин, пользуясь покровительством Ланского, Константина Николаевича и Елены Павловны, опирался на двух включившихся в практическую деятельность славянофилов — Юрия Самарина и Владимира Черкасского, ставших частью его команды.

Однако либерально настроенное дворянство, готовое поступиться узкокорыстными и сословными интересами в пользу общего блага, составляло в органах реформы подавляющее меньшинство. Большинство же называло любые преобразования опасными, пугало царя революцией и распускало слухи о том, что государь по своей доброте душевной поддался влиянию очередной любовницы — царь, как и его покойный батюшка, питал особую слабость к женскому полу. Вождями олигархической **партии «врагов прогресса»**, которая, по словам современника, не желала *«ни освобождения крестьян, ни развития науки, ни гласности, — словом, никаких улучшений, о которых после смерти Николая так сильно начало хлопотать общественное мнение»*, считались глава правительства князь Алексей Орлов, министр юстиции граф Виктор Панин, министр государственных имуществ Михаил Муравьёв, начальник петербургской полиции граф Пётр Шувалов, предводитель столично-уездного дворянства Николай Безобразов, бывший военный министр и шеф жандармов князь Владимир Долгоруков, член Госсовета князь Павел Гагарин, а также отставной глава морского министерства князь Александр Меншиков. Поняв, что придётся расстаться с бесплатной рабочей силой и источником дармовых доходов, консервативные вельможи попытались сделать так, чтобы свобода досталась мужикам дорогой ценой, уплатив которую, сельский житель попадал в экономическую кабалу.

— Ваше высочество, — нападали противники свобод на великого князя Константина, пытаясь найти слабое место в его позиции, — зачем же вы хотите дать крестьянам столько земли? Да ведь мужик не сможет за неё заплатить! Или вы собираетесь обобрать дворянство — эту единственную опору престола — до нитки?

— Правительство возьмёт выкупную операцию на себя. Помещики получают свои деньги, а крепостные будут рассчитываться с казной.

— Интересно! Да где же нашей дефицитной казне, ещё не оправившейся от последствий войны, раздобыть столько денег?

«Да хотя бы продадим Аляску!» — вероятно, подумал в этот момент морской министр и глава либеральной партии, имевший своих людей и в финансовом ведомстве.

Характерно, что подобно тому, как оказалось расколото при обсуждении крестьянского вопроса дворянское собрание, схожим образом началось **размежевание в среде интеллигенции** — между либералами и демократами.

Тургенев, сообщая о последних российских новостях, писал Герцену: «Не брани, пожалуйста, Александра Николаевича, а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки. За что же его эдак с двух сторон тузить? Эдак он, пожалуй, и дух потеряет».

И действительно, узнав о начале реформы, лондонский изгнанник сменил гнев на милость и встал на сторону самодержца, объявив о поддержке его великого почина, даже назвал царём-освободителем, но тут же сам попал под перекрёстный огонь. Демократическо-революционные разночинцы, обычно прислушивавшиеся к мнению «Колокола» и группировавшиеся вокруг «Современника», стали упрекать эмигранта в недостаточной жёсткости, а либеральное дворянство, державшееся за свои поместья и почитывавшее «Русский вестник», наоборот, принялось обвинять в излишнем радикализме. Больше всех в этом отношении отличился Борис Чичерин, вставший на профессорскую стезю и даже принятый в наставники наследника престола. «Либерализм! — восклицал правовед, рассуждая о „современных задачах русской жизни“. — Это лозунг всякого образованного и здравомыслящего человека в России. Это знамя, которое может соединить около себя людей всех сфер, всех сословий, всех направлений». А между тем владелец вольной типографии всего лишь поддерживал позицию царя. Соответственно, проблема заключалась в том, что император бежал впереди не желавшего шевелиться дворянства, хотя и не дотягивал до чаяний демократической публики, поскольку, как «первый помещик», должен был идти на компромиссы с основной массой благородного сословия.

Тем не менее лондонскую газету читали все — ведь именно в этом запрещённом издании неофициально публиковались и обсуждались в подробностях все проекты крестьянской реформы, пересылавшиеся равнодушными доброхотами едва ли не с министерских столов. Что же касается государя, то, перефразируя баснописца, выходило, будто его величество рвался в облака, крепостники пятились назад, а реформаторы, по мнению их противников, тянули в воду. Николай Некрасов, не называя имени императора, писал:

*И новый создать ему хочется храм,
Достойный народа и века,
Где б честь воздавалась и мудрым богам,
И славным делам человека.*

Однако вельмож вполне устраивал и старый храм, пускай разрушенный внутри, с протёкшей крышей и облупившимся фасадом, — зато свой.

— Граф, что вы думаете по поводу последних проектов в части крестьянского вопроса? — спросили у одного из членов Госсовета.

— Я враг всех так называемых «вопросов»! — отчеканил старый сановник.

Страсти в комитете и комиссиях кипели нешуточные. Умирая (это случилось в феврале 1860 года), Яков Ростовцев наставлял просидевшего всю ночь у его постели Александра:

— Государь, не бойтесь.

Государь не боялся, но на преобладающие в главном российском сословии настроения, не совпадавшие с намерениями царя, всё-таки оглядывался. Уступая мнению большинства, он поставил во главе Редакционных комиссий **Виктора Панина**, графа, министра юстиции и убеждённого консерватора, который являлся творцом николаевской системы административного произвола и бесправия в российских судах. Данное назначение породило волну слухов, будто наверху решено отложить реформу до лучших времён, однако следом для сохранения

политического равновесия председателем Главного комитета император сделал своего брата **Константина Николаевича**, крепостниками почитавшегося за державного якобинца.

Обе партии занимались беспрестанным перетягиванием каната, но к концу 1860 года под окрики хозяина престола худо-бедно довели проект реформы до ума. Из Редакционных комиссий многострадальный документ — он включал в себя «Положение о крестьянах» и прилагающийся к нему пакет из шестнадцати законодательных актов — **поступил в Госсовет** для одобрения его членами и представления императору.

На финишной прямой. В январе 1861 года, выступая перед главными сановниками империи, Александр II выступил с программной речью, основные положения которой потом будут отражены в манифесте. Вот он — высокий, статный, подтянутый — поднялся на трибуну и, вглядываясь в напряжённые лица вельмож, начал говорить. По залу стал разливаться зычный голос самодержца. Давайте послушаем:

«Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение Государственного совета, по важности своей я считаю жизненным для России вопросом, от которого будет зависеть развитие её силы и могущества. Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры. У меня есть ещё и другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела нельзя, почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ; возлагаю это на прямую обязанность председательствующего в Государственном совете. Повторяю, и это моя неперемнная воля, чтоб дело это теперь же было кончено. Вот уже четыре года, как оно длится и возбуждает различные опасения и ожидания как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства...

Вам известно происхождение крепостного права. Оно у нас прежде не существовало: право это установлено самодержавною властью и только самодержавная власть может уничтожить его, а на это есть моя прямая воля. Предшественники мои чувствовали всё зло крепостного права и постоянно стремились если не к прямому его уничтожению, то к постепенному ограничению произвола помещичьей власти. С этой целью при императоре Павле был издан закон о трёхдневной барщине, при императоре Александре — закон о свободных хлебопашцах, а при родителе моём — указ об обязанных крестьянах. Оба последние закона были основаны на добровольных соглашениях, но, к сожалению, не имели успеха. Свободных хлебопашцев всего немного более 100 тысяч, а обязанных крестьян и того менее.

Покойный мой родитель постоянно был занят мыслию освобождения крестьян. Я, вполне ей сочувствуя, ещё в 1856 году, перед коронацией, бывши в Москве, обратил внимание предводителей дворянства Московской губернии на необходимость заняться улучшением быта крестьян, присовокупив к тому, что крепостное право не может вечно продолжаться и что потому лучше, чтобы преобразование это совершилось сверху, чем снизу. Вскоре после того, в начале 1857 года, я учредил под личным моим председательством особый Комитет, которому поручил заняться принятием мер к постепенному освобождению крестьян. В конце того же 1857 года поступило прошение от трёх литовских губерний, просивших дозволения приступить прямо к освобождению крестьян. Я принял это прошение, разумеется, с радостью и отвечал рескриптом 20 ноября 1857 года на имя генерал-губернатора Назимова. В этом рескрипте указаны главные начала, которые должны и теперь служить основанием ваших рассуждений.

Мы желали, давая личную свободу крестьянам и признавая землю собственностью помещиков, не сделать из крестьян людей бездомных и потому вредных как для помещика, так и для государства. Безземельное освобождение крестьян в остзейских губерниях сделало из тамошних крестьян население весьма жалкое. То же было в Царстве Польском, где свобода была дана Наполеоном без определения поземельных отношений и где безземельное освобождение крестьян имело последствием, что власть помещиков сделалась для крестьян тяжелее,

чем прежнее крепостное право. Это вынудило покойного родителя моего издать в 1846 году особые правила для определения обязанностей крестьян к помещикам в Царстве Польском...

Теперь с Божиею помощью приступим к самому делу».

Проект манифеста, торжественно возвещавшего российскому народу об упразднении крепостного состояния, был подготовлен главным творцом реформы — Николаем Милютиным и его помощником Юрием Самариным, однако написанный ими текст самодержцу не понравился: слишком много высокопарных и радостных восклицаний. Дали переписать московскому митрополиту Филарету. Иерарх, выступавший против реформы, текст урезал и подсушил.

— Народ всё-таки будет доволен, ему будет лучше. Дворяне могут меня убить, я на это готов, но дело всё-таки останется, — говорил император министру внутренних дел Сергею Ланскому, когда тот принёс ему документы на подпись.

Росчерком царского пера **манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»** и **«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости»** были подписаны **19 февраля (3 марта) 1861 года**, но подлежали оглашению широкой публике лишь спустя две недели, когда должны были закончиться масленичные гулянья. Власти опасались, что подгулявший и захмелевший народ на радостях пойдёт вразнос, ведь после Масленицы — начало Великого поста, а там до самой Пасхи — ни-ни!

— Зря осторожничают! — усмеялся брат реформатора Дмитрий Милютин. — Глядишь, так бы на откупках и дефицит в казне покрыли!

Однако от греха подальше объявление благой вести отложили, а меры предосторожности — усилили.

ГЛАВА 4. Расколотая интеллигенция. Размежевание либералов и демократов (1857—61)

*Скажите ж мне, о чём писать?..
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Михаил Лермонтов*

Либеральное — больше на словах, чем на деле — дворянство в целом тянулось за царским правительством, но чаще по принуждению, потому что в душе считало затеянные бюрократами реформы чрезмерно радикальными. Напротив, революционным демократам, основу которых составляли выходцы из разночинских кругов, и этого казалось мало. Между двумя партиями неминуемо должен был образоваться раскол.

Первой ласточкой стало обострение разногласий в сфере искусства. Пускай и принято считать, что о вкусах не спорят, но в условиях тогдашнего Петербурга именно вкусовые предпочтения служили индикатором политической ориентации. Юный князь Пётр Кропоткин, в ту пору слушавший курс Пажеского корпуса (это он тайком от тётки читывал запрещённую лондонскую газету), вспоминал, что вся столица делилась на два лагеря — «поклонников итальянской оперы и на завсегдатаев французского театра, где уже тогда зарождалась гнилая оффенбаховщина, через несколько лет заразившая всю Европу». Как правило, любители оперетты, основоположником которой и являлся парижский композитор Жак Оффенбах, держались умеренного направления, в то время как классическая опера была как бы связана с радикальным движением, представители которого устраивали шумные овации, слышав «революционные» (прежде не проходившие через цензуру) речитативы в «Вильгельме Телле» или «Пуританах». Первая вещь — последний аккорд Джоаккино Россини, легендарная пятичасовая опера по пьесе Шиллера, вторая — фактически лебединая песнь Винченцо Беллини; премьеры обеих состоялись ещё в первой половине 1830-х и успели стать классикой, однако своей тематикой — о борьбе за свободу и независимость — немало смущали появлявшегося в царской ложе Александра II. «А в шестом ярусе, — продолжал Кропоткин, — в курительной и на подъезде собиралась лучшая часть петербургской молодёжи, объединённая общим благоговением к благородному искусству. Всё это может показаться теперь ребячеством, но тогда немало возвышенных идей и чистых стремлений было заронено в нас поклонением пред любимыми артистами».

Нараставшее идеологическое размежевание между либералами и демократами наслаивалось также на литературную полемику и, с одной стороны, неминуемо должно было привести к образованию зазоров между ранее совпадавшими или схожими позициями герценовского «Колокола» и Некрасовского «Современника», связующим звеном между которыми выступал Иван Тургенев, а с другой стороны, провести разделительные линии внутри редакции «Современника», под крышей которого до поры до времени вполне уживались сторонники реалистической школы и поборники «чистого искусства».

Старые сотрудники «Современника», работавшие с Некрасовым с момента основания журнала, полагали, что задача искусства — удовлетворять эстетические запросы ценителей прекрасного, а потому в произведении первична форма, а содержание вторично. И ставили в пример Пушкина. Этот взгляд отстаивал триумвират критиков в составе **Василия Боткина, Павла Анненкова и Александра Дружинина**, а также примыкавшего к ним писателя **Ивана Тургенева**. Пока был жив Виссарион Белинский, который, взяв талантливую молодёжь

под своё крыло, чутко направлял их творческую деятельность, они всецело находились под его влиянием, однако со смертью неистового властителя дум начали стремительно тяготеть к **«чистому искусству»**, которое в условиях николаевских репрессий позволяло за своей политической безобидностью избежать проблем с цензурой и сохранить доход от литературных трудов. Среди писателей установок «искусства ради искусства» придерживался также Иван Гончаров, некоторое время даже Лев Толстой, а в поэзии их главным выразителем стал «тройственный союз» **Якова Полонского, Аполлона Майкова и Афанасия Фета**, в силу запутанной семейной истории лишённого отцовской фамилии Шенши́н.

В начале александровского царствования на первые роли в «Современнике» стали выходить молодые публицисты **Николай Чернышевский и Николай Добролюбов**. Оба — поповичи из глубинки, семинаристы и во многом самоучки. Два разночинца в любой литературной новинке видели отражение социальных явлений, в первую очередь — проявление общественных язв и пороков, которые требовалось обличать, и, пытаясь придать изданию «обличительное» направление, тянули его в сторону «грубого материализма», нарушавшего душевное спокойствие либералов-идеалистов и уютную гармонию дворянских гнёзд. Во многом художественный текст служил тут предлогом для «социальной проповеди», отталкиваясь от которой можно было развернуть критику не столько литературного произведения, сколько преломлённых в нём общественных порядков. Последователи Белинского полагали, что литература, не впадая в излишний «натурализм» и подмечая главное из окружающей действительности, должна стать «учебником жизни». С этой точки зрения русская словесность начиналась не с Пушкина, а с Гоголя. Фету, Полонскому и Майкову разночинские критики противопоставляли «гражданскую поэзию» Некрасова, а в произведениях Тургенева и Гончарова, где социальное искусно перемежалось изящными формами и замысловатыми амурными сюжетами, расставляли нужные им акценты, трактуя на свой манер. Ведь писатель — зеркало своего общества, отголоски которого пробиваются сквозь текст порой вопреки авторскому замыслу.

В общем, как уже понял читатель, спор начался с противопоставления **двух литературных начал — «гоголевского» и «пушкинского»** — и вытекавшей из этой дихотомии **дискуссии о задачах литературы**.

Своего рода программным манифестом «реалистов» стала диссертация **«Эстетические отношения искусства к действительности»**, защита которой **Чернышевским** в 1855 году привлекла большое внимание просвещённой столичной публики. Позиция молодого профессора словесности сводилась к тому, что прекрасное — свойство жизни, оно не создаётся искусством, а им воспроизводится; значит, искусство должно помогать людям лучше понять жизнь и воспитывать мировоззрение. «Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменой её и быть для человека учебником жизни», — делал вывод Николай Гаврилович.

«Нельзя всей словесности жить на одних „Мёртвых душах“. Нам нужна поэзия. Наша текущая словесность изнурена своим сатирическим направлением», — оппонировал **Дружинин** в написанной годом позже статье **«Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения»**.

Точку зрения Дружинина подхватывает Катков и транслирует через либеральный «Русский вестник», а нигилист Дмитрий Писарев со страниц «Русского слова», напротив, и вовсе отвергает Пушкина, потому как от него «нет пользы».

«Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а без сапогов никак нельзя, а следовательно, Пушкин — роскошь и вздор», — иронически писал в одном из своих романов Фёдор Достоевский, который вместе с Аполлоном Григорьевым стоял на позициях «почвенничества». Занимая присущую почвенникам нейтральную позицию, **Аполлон Григорьев** в своём эссе **«О правде и искренности в искусстве»** попытался найти точки соприкосновения между двумя

крайностями. «Пушкин — наше всё», — торжественно провозгласил создатель теории «органической критики», указывая, что Александру Сергеевичу удавалось сочетать в своём творчестве не только высокую эстетику, но и твёрдую гражданскую позицию. Поэтому, когда теоретики «чистого искусства» вспоминали о том, что:

*Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...*

им не следовало забывать и другие строчки «солнца русской поэзии»:

*И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.*

С началом alexaндровских реформ, когда наступила гласность и стало формироваться «общественное мнение», литераторы стали чаще задумываться о «гражданском долге» художников слова и идейной нагрузке выходящих из-под их пера произведений.

В 1856 году главный редактор «Современника» **Николай Некрасов** опубликовал стихотворение «**Поэт и гражданин**», в котором не преминул в художественной форме затронуть давно занимавший литераторов тот самый вопрос — о задачах искусства.

*В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредёт пугливо...
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...
Нет, ты не Пушкин. Но куда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Ещё стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...
А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имеешь хлеба
Не стоит вещей струн твоих!
...Не очень лестный приговор.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильней судить:
**Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.***

*А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам гражда́н!
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись! Нет ответа.
И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!*

Схожий мотив был затронут Николаем Алексеевичем и в стихотворении «**Размышления у парадного подъезда**», где он непосредственно обратился к жизни основной массы населения:

*Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьма́м, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
...Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснёшься ль, исполненный сил...*

По поэту (и гражданину!) выходило, что нередко суровая реальность обрушивалась на простого русского человека с молодых ногтей, лишая крестьянских отпрысков радости детства. В стихотворении «**Крестьянские дети**», написанном на основе личных впечатлений, которые он привёз из деревни, Некрасов утверждал:

*Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествѹя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведѹт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
«Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!»*

— «Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?» — „Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
«А что, у отца-то большая семья?»
— «Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...»
— «Так вот оно что! А как звать тебя?» — «Власом».
— «А кой-тебе годик?» — «Шестой миновал...
Ну, мёртвая!» — крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрее зашагал.

Несмотря на некоторую сюрреалистичность увиденной сцены, автор строк отмечал, что всё это, тем не менее, наше, родное и посконное, какие грустные чувства оно бы ни навело; фактически он испытал то, что потом другой наш великий писатель назовёт «скрытой теплотой патриотизма»:

На эту картину так солнце светило,
Ребёнок был так уморительно мал,
Как будто всё это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
Всё, всё настоящее русское было,
С клеймом нелюдимою, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти — дави не дави,
В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!

В своём творчестве Некрасов не обошёл вниманием и горькую долю обитательниц публичных домов — с николаевских времён проституция в стране была официально разрешена. От путан требовалось лишь встать на учёт в полиции и получить «жёлтый билет», а от содержательниц борделей — размещать свои заведения подальше от церквей и школ. К слову, легализовали «древнейшую профессию» не от хорошей жизни. Данное решение рассматривалось в качестве «меры поддержки» нищающего населения — девушки всё чаще шли на панель, чтобы хоть как-то прокормиться.

Беспокойная ласковость взгляда,
И поддельная краска ланит,
И убогая роскошь наряда —
Всё не в пользу её говорит.
Но не лучше ли, прежде чем бросим
Мы в неё приговор роковой,
Подзовём-ка её да спросим:

*«Как дошла ты до жизни такой?»
...Свет тебя предаёт поруганью
И охотно прощает другой,
Что торгует собой по призванью,
Без нужды, без борьбы роковой.
...Вон по Невскому бродят, как тени,
Разорённые ею глупицы!
И пример никому не наука,
Разорит она сотни других:
Тупоумие, праздность и скука
За неё... Но умолкни, мой стих!
И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведём.*

Тургенев, пока окончательно не перебрался на житьё за границу, каждую неделю собирал у себя дома за обедом литературную тусовку. По воспоминаниям Афанасия Фета, первые поэтические сборники которого были опубликованы благодаря стараниям Тургенева (подобно тому, как до этого Иван Сергеевич познакомил свет с творениями Тютчева), на этих дружеских вечерах было «много шампанского, единомыслия и веселья».

— Господа! — вдруг воскликнул Тургенев, подымая руку: — позвольте просить вашего внимания. Вы видите, Михаил Александрович Языков желает говорить.

Языков — близкий друг покойного Белинского и здравствующего Ивана Панаева, чиновник и любитель словесности, известный своим остроумием и талантом импровизации.

— Языков, Языков желает сказать спич! — раздались хихикающие голоса.

Языков встал, держа в приподнятой руке бокал, окинул присутствующих нахмуренным взглядом и с самым серьёзным видом произнёс:

*Хотя мы спичем и не тычем,
Но чтоб не быть разбиту параличем...*

Не dokonчив фразы, он опустился на стул под дружных хохот гостей. Через пару минут экспромт подхватил Фет:

*...Поднять бокал в честь дружного союза
К Тургеневу мы нынче собрались.
Надень ему венок, шалунья муза,
Надень и улыбнись!*

Прошло ещё две минуты — на правах хозяина слова попросил Тургенев:

*Все эти похвалы едва ль ко мне придутся,
Но вы одно за мной признать должны:
Я Тютчева заставил растягнуться
И Фету вычистил штаны.*

«Гомерический смех был наградою импровизатору», — вспоминал Фет.

Однако в другой раз на одной из таких писательских посиделок речь зашла о «народности».

— Ты слишком напирал в своих стихотворениях на реальность, — заметил Тургенев, обращаясь к Некрасову, уже заслужившему славу «народного поэта».

— Да, да! А этого нельзя! — подхватил друг Тургенева (и Фета) Василий Боткин, по взглядам — атеист, западник и радикал, а по жизни — гурман, эстет и любитель заграничных курортов, родину посещавший наездами, благо что такую дольче виту позволяли родительские капиталы, сколоченные на торговле чаем. — Сильно напирал, и это коробит людей с художественным развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и в предмете стихотворения.

— Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьём, — продолжал наступление Тургенев. — К слову, она перечитала в оригинале все стихи Гёте, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить её с твоими стихами и прочёл «Еду ли ночью по улице тёмной». Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? «Это не поэзия! Это не поэт!»

— Да, да, — с задором поддакивал Боткин.

— Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам, — согласился Некрасов, но его товарищи не унимались. Боткин продолжал:

— Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин. Пушкин, Лермонтов — и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи прежде, чем печатали.

— До Пушкина и Лермонтова мне далеко! — махнул рукой Некрасов. — Если я стану подражать им, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть своя своеобразность; у меня — реальность, — проговорил издатель «Современника», встал из-за стола и принялся молча ходить по комнате. Поразмыслив, он добавил серьёзным тоном:

— Вы, господа, может быть и правы со строгой точки эстетического взгляда на мои стихи, но вы забыли одно, что каждый писатель передаёт то, что он глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру из их среды, и меня удивляет, что вы отвергаете человеческие чувства в русском народе! Он так же сильно чувствует любовь, ревность к женщине, так же беззаветна его любовь к детям, как и у нас! Пусть не читает моих стихов светское общество, я не для него пишу, — подвёл черту народный поэт.

— Значит, ты, любезный друг, пишешь для русского мужика, но ведь он безграмотен! — подловил его на противоречии ухмыляющийся Боткин.

— Мне лучше тебя известно, что есть много грамотных мужиков, да и скоро русский народ поголовно будет грамотен, несмотря на то, что у него нет учителей.

— И будет выписывать «Современник»! — улыбнулся Тургенев.

— Bravo, bravo, Тургенев! — воскликнул Боткин, прибавляя с деланным сожалением: — Ай, ай, любезный Некрасов, поразил ты нас; такой практический человек и вдруг такая маниловщина в тебе.

Следившая за разговором Авдотья Панаева, любовница Некрасова и супруга его компаньона по изданию журнала, заметила, как Николай Алексеевич ещё более нахмурился и замер посреди комнаты.

— Имеете право потешаться надо мной! Я вас ещё более потешу и удивлю, если выскажу вам откровенную мысль, что моё авторское самолюбие вполне было бы удовлетворено, если бы, хоть после моей смерти, русский мужик читал бы мои стихи!

Но куда больше беспокоило Тургенева и компанию не личное творчество главного редактора журнала, а общая политика издания, которая начинала всё больше ориентироваться не на

либеральные реформы, а на демократическую революцию, проповедуемую главным образом разночинскими элементами.

— Однако, «Современник» скоро делается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором! — возмущался Тургенев о наболевшем. Он вообще недолюбливал новых имён в публицистике и литературе: в своё время выступал против молодого Достоевского, тогда ещё никому не известного Гончарова и даже снискавшего первые театральные лавры Островского, а Салтыкова-Щедрина вообще за писателя не считал — и всё это не со зла, а просто из вредности, к которой в данном случае примешивалось ущемлённое чувство дворянской гордости.

— Не всё ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная, — возразил сидевший напротив Некрасов.

— Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? — ввернул наводящий вопрос Анненков, хотя мог бы и промолчать: за пару лет до этого критик, написавший первую биографию Пушкина, втайне от друзей выкупил права на издание собрания сочинений Александра Сергеевича и неплохо на этом заработал — в общем, поступил, мягко говоря, не вполне благородно.

— Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, — заметила Авдотья Панаева. — Как видите, не бесследна была деятельность Виссариона: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

Приверженцы теории «чистого искусства» и идеалистического либерализма забывались: они и сами вышли из-под крыла «недоучившегося семинариста», открывшего им двери в большую литературу. В данном случае разговор начался не на пустом месте. Причиной недовольства Тургенева и его друзей служила растущая популярность двух молодых сотрудников «Современника» — Николая Чернышевского и Николая Добролюбова, которые стремительно подминали редакцию журнала под себя и толкали издание в сторону «обличительного направления». Про отказ этих «разночинских выскочек» преклоняться перед талантом великого писателя и говорить не стоить.

Чернышевский был сыном священника из маленького саратовского села. Сильная близорукость не позволяла мальчику дурачиться с друзьями, но не мешала одна за другой поглощать книги. Образованный не по годам попovich должен был пойти по стопам отца, однако, не кончив семинарии, подался в Петербургский университет, выпустившись оттуда кандидатом — то есть, как сказали бы сейчас, «с красным дипломом», а потом защитил магистерскую диссертацию (выражаясь современным языком, получил звание «кандидата наук»), стал преподавать словесность, но вскоре сосредоточился на публицистической деятельности, превратившись в одно из главных лиц «Современника». Однако этим не ограничивался, а всюду искал единомышленников, привечал их и вдохновлял на социальную борьбу. Одним из таких людей и был **Добролюбов**. Тоже попovich, только не саратовский, а нижегородский, семинарист, благовоспитанный и эрудированный юноша. Вопреки воли отца-священника, приехав для дальнейшего обучения в столицу, он не стал поступать в духовную академию, а избрал университет, где и проявились его вольнодумные воззрения.

Однажды на пороге дома, где жили Панаевы и Некрасов, появился близорукий юноша в очках и студенческом мундирчике. В руках он держал статейку, которую надеялся опубликовать и с этой целью принёс в редакцию. Иван Панаев встретил паренька по одежке: можно ли ждать чего-то дельного от зелёного молокососа? Издатель пробежал рукопись по диагонали, не особо вникая в её содержание, сделал недовольное лицо и вернул исписанные листы бумаги обратно с наставлением в духе того, что, мол, лучше прилежнее готовить уроки, чем впустую тратить время на сочинение повестей. На счастье невезучему студенту, уже покидавшему дом, попалась жена Панаева Авдотья, которая, провожая его на улицу, согласилась-таки взять руко-

пись и показать её Некрасову. Когда гость ушёл, женщина поднялась к супругу и строго отчитала его.

— Ты, должно быть, так огорошил бедного юношу, что он не знал, как ему найти дверь, чтобы убежать.

— Я ему только высказал правду, я посмотрел его рукопись, она плоха, как и следовало ожидать; ну, что может написать такой мальчик?

— Да нынче мальчики развитее, чем были вы тридцать лет тому назад, когда окончили своё воспитание, — заметила Авдотья. — Сами в литературе разыгрываете таких же недоступных директоров-чиновников, над которыми смеётесь. Тебе следовало принять участие в юноше, ободрить его, а не читать ему наставление, чтобы он не смел и думать пробовать свои силы.

В 1858 году Николай Добролюбов стал руководителем литературно-критического отдела «Современника», во главе которого добивался того, чтобы основным критерием социальной значимости произведения являлось отражение интересов трудящегося народа. В январской книжке журнала за 1859 год вышла его программная статья «**Литературные мелочи прошлого года**», в которой автор, не раскрывая фамилии, нападал, как это ни странно, на так называемую «обличительную литературу».

Речь шла о том, что с наступлением «гласности» записные либералы, до этого шлёпавшие языками лишь в тесном кругу дворянских гостиных и уютных особняков барских усадеб, с дозволения верховной власти охотно принялись громогласно разоблачать общественные пороки и административные злоупотребления. Тем самым они, по мысли публициста, фактически разменивали возможности настоящей социально-политической борьбы на мелкую критику отдельных недостатков самодержавного строя. Мол, если предавать огласке случаи вопиющего нарушения законности, громко говорить о насущных вопросах сегодняшнего дня, порой даже указывая пальцем на тех или иных провинившихся или, наоборот, бездействующих чиновников, одним только этим можно исправить систему. Такая логика упускала из виду, что система была порочна в своих основаниях. Поменяй одного столоначальника другим — только больше воровать станет, а если не станет, то, скорее всего, долго на своём месте не задержится, ибо максимум общественных отношений был принцип: либо обманываешь ты, либо — тебя, а третьего не дано. Автор статьи настаивал, что бороться нужно не со следствиями, а с причинами. Другими словами, между строк говорилось о смене общественного строя. То есть — о революции. Проблема заключалась в непонимании «людьми сороковых годов» — этими «старыми авторитетами», «прежними деятелями» и «пожилыми мудрецами», которые «стоят всё на том, что толковалось двадцать лет тому назад» — новых общественно-политических задач, которые должны решаться новыми, революционно-демократическими методами и, очевидно, молодыми поколениями, чьи стремления «гораздо выше того, чем обольщалась в последнее время наша литература».

«Несколько раз уже приходилось нам говорить об отношении литературы к действительности. Мы постоянно выражали убеждение, что литература служит отражением жизни, а не жизнь слагается по литературным программам. Литература постоянно отражает те идеи, которые бродят в обществе...

Степень развития умных людей в начале каждого периода даёт мерку будущего развития масс в конце того же периода. Люди, идущие в уровень с жизнью и умеющие наблюдать и понимать её движение, всегда забегают несколько вперёд, а за ними следует и толпа, которая понимает жизнь уже по чужим объяснениям и, таким образом, всё протверживает зады. Этим-то процессом развития масс и объясняется жизненность и долговечность всего талантливого; сначала только умные люди поймут и скажут, что это хорошо, толпа же поверит им на слово; а потом и толпа, по мере своего развития, всё сознательнее и яснее станет убеждаться, что это действительно хорошо... до тех пор, пока не наступит новый

период цивилизации. ... Этим же объясняется и то обстоятельство, что всякий автор, как бы он ни был пошл, всё-таки имеет успех в каком-нибудь кружке и даже приносит своего рода пользу.

...Почитаешь журнальные статейки, так иногда и в самом деле подумаешь, что литература у нас — сила, что она и вопросы подымает и общественным мнением вороочает... А на деле ничего этого нет и не бывало: литература у нас постоянно, за самыми ничтожными исключениями, до настоящей минуты шла не впереди, а позади общества».

Далее из краткого экскурса в недавнее прошлое, ещё не успевшее стать историей, выходило, что газетно-журнальные дискуссии нового царствования, которые велись сначала по вопросу о железных дорогах, затем об образовании и воспитании, а также о промышленности и торговле, не были начаты литераторами и публицистами, а стали только отражением, причём весьма запоздалым, тех административных мер, что были инициированы правительством.

«Остаётся вопрос, которым с начала прошлого года мгновенно наполнились не только все журналы, но и вся земля русская, — вопрос об освобождении крестьян. Насколько участвовала литература в возбуждении этого вопроса? Мы думаем, что ни насколько. ... Вопрос о телесном наказании тоже был на очереди; но решился как-то странно. Нужно, впрочем, заметить предварительно, что если кто подумает, будто дело шло в литературе об отмене розог, — тот жестоко ошибается. Нет, до этого литература ещё не договорилась. Дело шло ни больше, ни меньше, как о том, кому сечь — помещику или сельскому управлению.

Мы обсуждали очень тонко
(Хоть не решили в этот год),
Пороть ли розгами ребёнка,
Учить ли грамоте народ»,

— язвительно обобщал автор и делал неутешительный вывод, фактически выносил приговор:

«Во всей пожилой фаланге оказалось очень немного имён, которые можно бы было поставить во главе нового движения...»

Статья «Литературные мелочи прошлого года» явилась первым изложением **новой политической программы «Современника»**, тон в редакции которого стали задавать Чернышевский и Добролюбов, перетянувшие на свою сторону Некрасова и лишившие влияния Тургенева.

Говоря о проблеме двух поколений, Добролюбов оговаривался, что «пожилые мудрецы встречаются и между двадцатилетними», равно как среди старой генерации есть «люди высшего разбора, пред которыми с изумлением преклонится всякое поколение». Очевидно, что к последним относились Белинский, Герцен и Огарёв, однако Александр Иванович, получив в Лондоне свежий номер «Современника», оскорбился и принял всё на свой счёт.

— Они там смотрят на нас, как на хороший остов мамонта, как на интересную ископаемую кость, — негодовал владелец вольной типографии.

Одновременно с ударом слева ему пришлось сдерживать нападки со стороны либерального лагеря, где лондонскому эмигранту приписывали ровно то, что не признавали за ним в стане демократической интеллигенции.

«Вы кинулись в объятия западной революционной партии и вместе с нею мечтаете о низвержении существующего порядка и господстве низших классов народонаселения, призываемых к обновлению мира буйною силою. Неужели вы думаете найти между нами сочувствие?» — обвинял отрёкшегося западника Борис Чичерин, в некотором роде претендовавший на роль философа-теоретика русского либерализма, а может быть и на то, чтобы держать в руках его знамя. Чичеринское письмо было опубликовано, как и ожидалось, не найдя отклика в основной массе читателей «Колокола».

— Вся молодёжь за меня. Разделение это с прародительских времен идёт: якобинцы и жиронда, — ободрялся Александр Иванович, получая массу писем в свою поддержку.

Либеральная критика мало огорчала автора «Былого и дум». Другое дело — услышать попрек от тех, кого считал своими товарищами. Ответом Герцена на «Литературные мелочи» стала **статья «Very dangerous!!!»**

«Мы сами очень хорошо видели промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности, — писал Искандер. — Но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь. Они ещё большие молчали об этом».

Вывод такой: «пустое балагурство» «Современника» — то же, что «чистое искусство» какой-нибудь «Библиотеки для чтения». Мол, оба журнала объединились в своей нелюбви к обличительной литературе и гласности. «Смех ради смеха» как достойное продолжение «искусства для искусства».

Некрасов, когда ему в Петербург доставили свежий номер «Колокола», ходил, словно ударенный обухом по голове. Вернувшись от друзей в третьем часу ночи, он разбудил Добролюбова, который жил в соседней квартире, и показал ему листы запрещённой газеты.

— Искандер в «Колоколе» напечатал статью против «Современника» за то, что, как он считает, мы подвергаем поруганию священное имя гласности...

— Однако, хороши наши передовые люди! — тут же прогнал остатки сна Добролюбов. — Успели уж пришибить в себе чутьё, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности...

На следующий день Добролюбов говорил Чернышевскому:

— Я лично не очень убит неблагоприятием Герцена, с которым могу помериться, если на то пойдёт, но Некрасов обеспокоен. Николай Алексеевич переживает, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно.

В личном плане между Герценом и Некрасовым уже несколько лет как пробежала чёрная кошка. Лондонский изгнанник был уверен, что народный поэт присвоил себе чужие деньги, о чём не преминул заявить во всеуслышание. История резонансная и крайне запутанная. Речь шла о деньгах Огарёва, которые, судя по всему, прикарманила Авдотья Панаева, а роль Некрасова в этом тёмном деле сводилась к попытке выгородить свою благодатную музу в лучшем свете. Александр Иванович потом даже отказался пускать поэта на порог своего лондонского дома. Но то — личное, а здесь на кону стояло единство революционно-демократических сил русского общества. Добролюбов полагал, что Герцен — революционер, колеблющийся между либерализмом и демократией, в данном случае — ослеплённый иллюзией, что царизм может разрешить крестьянский вопрос в интересах народа, а потому нужно было убедить его принять программу «Современника» и встать во главе «партии крестьянской революции». Эти соображения он облёк в «притчу о путешественнике», с помощью которой попытался разъяснить свой образ мыслей.

— Представь путешественника, которому нужно ехать из Петербурга в Москву, — убеждал он Чернышевского, который в Герцене видел либерального барина и не верил, что тот пойдёт по пути демократической революции. — Услужливый приятель, вызвавшийся его сопровождать, берёт ему билет только до Колпино. На вопрос: зачем? он вдруг делается недоволен, обижается и начинает толковать, что мы любим скачки, хотим всё делать вдруг, что, ехавши в Москву, Колпина не миновать, что нужно прежде всего думать о ближайшей цели, а потом уж, приехавши в Колпино, заботиться о том, как ехать дальше. Да, поневоле иной раз рассмеёшься и поглумишься, хоть и невесело, а добрые люди из этого бог знает что выводят! Говорят, что мы пользы железных дорог не признаём, в дружбу не веруем, промежуточные станции хотим уничтожить. Впрочем, видя беспрестанно людей, плетущихся от станции до станции, мы даже

отчасти примиряемся с ними и... в этом случае мы уже с любовью смотрим на людей, которые утверждают, что не нужно менять билет на каждой станции, можно запастись им на две и на три или даже взять один билет до Бологова, например. Мы тотчас самым радушным образом приветствуем таких людей, — намекал он на Герцена, — питая сладкую надежду, что, может быть, они придут наконец и к тому убеждению, что можно и прямо в Москву брать билет из Петербурга.

Однако для начала пришлось брать билет до Лондона. Некрасов изъявил готовность ехать самому, но характер его личных отношений с Искандером ставил под вопрос возможность их встречи, а Добролюбов пока не обладал необходимым авторитетом, чтобы убедительно воздействовать на старого мэтра русской революции. Поэтому они уговорили Чернышевского, куда-то собиравшегося по своим собственным делам, переменить планы и нанести визит в британскую столицу с целью объясниться от лица журнала по поводу «произошедшего недоразумения» — и, может быть, склонить лондонского эмигранта к тому, чтобы совместными усилиями пропагандировать не постепенное улучшение существующего строя, а необходимость крестьянской революции.

Прибыв на берега Темзы, Николай Гаврилович в первый же день отправился в Фулем — пригородный район Лондона, где обитал владелец вольной типографии, однако Александр Иванович, у которого с Николаем Огарёвым на выходные была намечена загородная поездка, решил не отказываться от планов ради очередного визитёра из России. Сколько таких политических «паломников» считало священным долгом и высокой честью прикоснуться к порогу герценовского дома за последние годы — несть числа. А потому он попросил Чернышевского, проделавшего долгий путь через весь континент ради единственного дела, зайти вновь через несколько дней.

«Прихоть русского барина!» — подумал Николай Гаврилович как бы в подтверждение сложившегося у него предубеждения и стал терпеливо дожидаться свидания. Наконец ему принесли записку.

«Le Monsieur qui a été Samedi a Fulham est bien prié de repasser demain Mardi depuis 3 a 10 h», — гласил куций клочок бумаги, переданный спустя пару суток издателем «Колокола» через товарища, помогавшего организовать конспиративную встречу: «Господина, который был в субботу в Фулеме, очень просят прийти снова завтра, во вторник, между 3 и 10 часами».

Когда беседа всё же состоялась, возбуждённый гость стал распекать хозяина дома, не позволяя вставить слова в своё оправдание.

— Если бы наше правительство было чуточку поумнее, — выговаривал Чернышевский, — оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определённую политическую программу, скажем — конституционную или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы своё «Carthago delenda est»: Карфаген должен быть разрушен.

— Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах; не в началах, а в образе действия, — спокойно отвечал Герцен. — К топору, к этому ultima ratio, последнему аргументу притеснённых мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора...

Таким образом, переговоры двух вожakov российской демократии не устранили принципиальных разногласий, а лишь прояснили их окончательно.

Как напишет поэт Александр Блок:

*Годов соратник; он поныне,
В числе людей передовых,
Хранит гражданские святыни,*

Он с николаевских времён

*Стоит на страже просвещения,
Но в буднях нового движенья
Немного заплутался он...*

— Пришлось мне, по желанию Некрасова и Добролюбова, проспать всю Германию от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути всю сухопутную дорогу, — сообщал Николай Гаврилович о результатах поездки, когда вернулся в Петербург. — Если же серьёзно, то не могу подобрать слов, чтобы выразить, какую колоссальную глупость я совершил, отправившись на поклон к Герцену... А какой умница! Какой умница! И как отстал... Ведь он до сих пор думает, что продолжает остроумничать в московских салонах и препираться с Хомяковым. А время теперь идёт со страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет! Присмотришься — у него всё ещё в нутре московский барин сидит! А вертелся передо мною как школьник...

На практике доказав свою правоту, Чернышевский, в чисто в воспитательных целях, не преминул отчитать Добролюбова, до последнего верившего в возможность примирения «Современника» и «Колокола», за его политическую наивность.

— На самом деле история была самая невинная, — говорил он, возвращаясь к языку дорожных аналогий. — Положим, например, что вы хотите ехать из Рязани в Петербург, а я — в Москву; вам известно, что дальше Москвы я не поеду; но вам угодно было иметь меня своим спутником. Теперь спрашиваю вас: если, доехав до Москвы, я останусь там и предоставлю вам продолжать путь, как вы сами знаете, или остаться в Москве, когда вы не можете ехать одни, — если я сделаю это, неужели вы имеете право называть меня изменником? И какой же практический человек верит словам? Мало ли что говорят, так вот всему вы и станете верить? Вы должны расчёты ваши основывать на том, что мне нужно, а не на том, что я говорю; иначе вы на каждом шагу будете оставаться в проигрыше... Но, поверьте мне, никого вы не называйте за это изменником, а называйте только сами себя слишком наивным простаком, а лучше всего постарайтесь отучиться от вашей плебейской наивности.

— Да, — признавал потом свою ошибку Добролюбов, — Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог; я — близорукий зритель! А сколько ещё молодых людей вводятся в заблуждение, обольщаясь либеральными иллюзиями...

Примечательны стихи Некрасова, в которых поэт-гражданин, склонявшийся на сторону разночинской молодёжи и революционной демократии, высмеивал общественных «деятелей» старой закалки.

*Ты стоял перед отчизною,
Честен мыслью, сердцем чист,
Воплощённой укоризною,
Либерал-идеалист!
Грозный деятель в теории,
Беспощадный радикал,
Ты на улице истории
С полицейским избегал;*

*Злых, надменных, угнетающих,
Лишь презреньем ты карал,
Не спасал ты утопающих,
Но и в воду не толкал...
...Ещё добром должны мы помянуть
Тогдашнюю литературу,
У ней была задача: как-нибудь
Намёком натолкнуть на честный путь
К развитию способную натуру...*

Это было тогда, а теперь —

*Мудрейшие достали втихомолку
Такого рода прочные места,
Где служба по возможности чиста,
И, средние оклады получая,
Не принося ни пользы, ни вреда,
Живут себе под старость припевая;
За то теперь клеймит их иногда
Предателями племя молодое...*

Исключение делалось для покойных Белинского и Грановского, названных поимённо.

*Да! были личности!.. Не пропадёт народ,
Обретиши их во времена крутые!
Мудрёными путями бог ведёт
Тебя, многострадальная Россия!
Попробуй усомнись в твоих богатырях
Доисторического века,
Когда и в наши дни выносят на плечах
Всё поколение два-три человека!*

А вот имени Герцена в списке не оказалось. Оно и не удивительно. Со второй половины 1859 года «Современник», пытаясь не допустить влияния Герцена на молодёжь, **повёл острую полемику с «Колоколом»**.

Характерно «письмо русского человека из провинции», опубликованное лондонской редакцией в одном из номеров газеты в 1860 году.

«Все ждали, что вы станете обличителем царского гнёта, — с нескрываемым разочарованием писал в редакцию анонимный читатель, — что вы раскроете перед Россией источник её вековых бедствий, это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия. И что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II. Немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны. Все заговорили об умеренности, о мирном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою... Пусть ваш „Колокол“ благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей».

Искандер верил, что топор — палка о двух концах: куда полетят щепки, поручиться сложно, а потому следует считать это крайней мерой, прибегнуть к которой всегда успеется.

Были люди, разделявшие такое мнение и на берегах Невы. В частности, Тургенев пытался склонять к умеренному либерализму как Герцена, так и Некрасова. Однако, когда стало ясно, что политическое направление журнала изменилось в сторону большего радикализма, **внутри самого «Современника» тоже обострились разногласия.**

В один из рабочих дней в редакцию журнала заявился Тургенев, чтобы пригласить писателей на литературные посиделки, которые он традиционно устраивал у себя каждую неделю.

— Господа! Не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне, — напомнил он, обращаясь к Некрасову, Панаеву и сидевшим тут же старым знакомым, а затем, повернувшись к Добролюбову, отдельно прибавил: — Приходите и вы, молодой человек.

После ухода Тургенева, который, пожалуй, в это время был главным именем в современной русской литературе (большая слава Толстого и Достоевского придёт позже), а потому позволял себе глядеть на остальных, тем более молодых авторов, свысока, как бы с барской снисходительностью, Панаева в шутку спросила у Добролюбова:

— Николай Александрович, вы, должно быть, считаете себя сегодня счастливейшим человеком — всё-таки удостоились приглашения на обед от главного литературного генерала.

— Ещё бы! Такая неожиданная честь, — уклончиво ответил молодой критик.

— Что же, пойдёте?

— К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, — отвечал он с невинной улыбкой.

Когда Некрасов узнал, что Добролюбов, оскорблённый тоном приглашения, отказывается ехать с ними, то изрядно удивился.

— Вас же приглашал Тургенев! — настаивал Николай Алексеевич.

— Да, но в какой форме это прозвучало...

— Ведь он всех так пригласил, — старался сгладить углы Некрасов.

— Это у него такая манера, — примирительно убеждал Панаев.

— Вы все его очень короткие знакомые, а я нет, — стоял на своём молодой, но знавший себе цену юноша.

И действительно, после того инцидента Иван Сергеевич, принимая во внимание проявленное Николаем Александровичем достоинство, а более всего — его растущую славу среди петербургской интеллигенции, стал проявлять к нему больше уважения, но затащить на свои обеды не мог ни под каким предлогом. Сначала он списывал это на то, что, видимо, вчерашний студент, провинциал и разночинец робеет перед аристократическим обществом, но вскоре осознал, что страху тут нет и в помине — это у него не коленки тряслись, а спина не гнулась. Воистину, молодёжь такая пошла, что никаких заслуг не признавала и ничего святого ни в грош не ставила. Одним словом — нигилисты (от латинского «*nihil*» — ничего).

— В нашей молодости, — сетовал писатель, — мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости — это какие-то нравственные уроды.

— Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее, — возразил Панаев, для которого отповедь жены не прошла даром.

— Э-э, братец, да на тебя, кажется, семинарская сфера начинает влиять. Господа! Иван Иваныч начинает отрекаться от своих традиций, коим с таким неуклонным рвением следовал всю жизнь.

— Отчего же не сознаться, если это правда: теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же лета.

«Между сотрудниками „Современника“ Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но, с появлением Чернышевского и Добролюбова, он увидел, что эти люди посерьёзнее его знакомы с иностранной литературой», — писала в своих воспоминаниях Авдотья Панаева.

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! — рассказывал пораженный Тургенев о своём открытии Некрасову. — И какая чертовская память!

— А я тебе говорил, что у него замечательная голова!

— Однако есть в нём огромный недостаток. Как ты сам этого не видишь? Чтобы Добролюбова сравнивать с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутьё ко всему эстетическому. Виссарион своими статьями увлекал к возвышенному!

— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то сам сознайся — это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях её, а уж о толпе и говорить нечего, — признавался народный поэт, которого частенько обвиняли в том, что тот радеет за мужика, а сам живёт заправским баринком, не отказывая себе в удовольствии вкусно покушать, развлечься охотой и спустить тысячу-другую за игральным столом, да при этом почти в открытую сожительствоует с женой своего друга. Одним словом — лицемер, а ещё других жить учит. Что ещё хуже, может начать каяться в своих прегрешениях — но не затем ли, чтобы потом снова разоблачать других? Взять хотя бы эти его призывные возгласы из стихотворения «Рыцарь на час»:

*Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!*

Тот же Иван Сергеевич, оставаясь наедине с Боткиным, то и дело говорил:

— Успех Некрасова, — указывал писатель, и сам не обделённый славой, — объясняется тем, что он умеет как нельзя лучше применяться к настроению публики. Стихом владеет он довольно ловко, а вдохновения ему и не нужно; выходит он на крыльцо, подают ему экипаж, и вот у него уже готово стихотворение: ах я подлец, еду в карете, а мимо меня идёт нищий, изнемогающий от голода, и т. д. и т. п. — сколько угодно на подобные темы.

По правде говоря, **Тургенев**, хотя и не идеализировал мужика, аристократические замашки дворянства тоже недолюбливал, потому как придерживался обязательных для западника либеральных ценностей, но при этом знал меру, которая не позволяла ему опускаться до уровня толпы. Одно дело народ — многострадальный, но беспросветно тёмный, и совсем другое — общество, которое, впрочем, ещё не до конца изжило из себя дикость дремучего феодализма. В общем, писатель исповедовал либеральную демократию, занимая промежуточное положение между условными дворянами и разночинцами. Качнётся правее — и вот ему близок Герцен (мирные, но далеко идущие реформы), колыхнётся чуть влево — и там его ждёт Некрасов (революционный путь), однако в творчестве последнего Тургеневу претит чрезмерная «гражданственность», из-за чего, несмотря на свои прогрессивные политические взгляды, в плане художественном он куда легче находит общий язык с Толстым, Фетом и Тютчевым («О

Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии», — как-то раз бросил писатель), но при всём при этом не разделяет консервативных наклонностей данной троицы. Как результат, Тургенев рассорится сначала с Некрасовым, потом с Толстым, а затем и с Фетом, хотя и будет поддерживать с Афанасием Афанасьевичем постоянную переписку («врагу моему А. А. Фету...», — бывало адресовал он свои письма): сходясь с поэтом во взглядах на искусство, он будет расходиться с ним идеологически.

В целом удивительного здесь мало: большим и выдающимся талантам порой становится тесно в одной комнате, тем более что сам Тургенев зачастую направлялся гипертрофированным тщеславием. Человек образованный, тонкого ума, хорошего вкуса и приятного разговора, вместе с тем он любил вставать в позу и порой не выбирал выражений. Литератор не пощадил даже собственной матери, Варвары Петровны, показав её в образе бездушной самодурки. «В одной из отдалённых улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолю и покрякивающимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окружённая многочисленной дворней...», — начиналась эта повесть, знакомая ныне каждому школьнику. И дело не только в том, что строгая помещица тиранила крепостных, — она и своему сыну спуска не давала.

— Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания, — признавался Иван Сергеевич. — Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Судя по всему, методика воспитания оказалась эффективной. Однажды, уже будучи студентом, Иван, как он сам выразился, «приехал на вакацию к матери в Спасское и сблизился там с крепостною её портною». Результатом «сближения» стало рождение девочки, названной Пелагея. Тургенев с видом проштрафившегося гимназиста явился к Варваре Петровне, пал на колени и слёзно просил снисхождения.

— Ты странный, — отвечала она, — я не вижу греха ни с твоей, ни с её стороны. Это простое физическое влечение.

В это время Иван Сергеевич как раз увлёкся испанской певицей Полиной Виардо, которую писательница Жорж Санд вывела в образе главной героини романа «Консуэло». Хотя артистка была замужем за французом, а мать угрожала лишить молодого повесу наследства, два эти обстоятельства не помешали Тургеневу фактически стать членом семьи Виардо — на правах то ли друга, то ли восторженного поклонника, то ли чего-то большего. С тех пор он подолгу живал за границей, а дома бывал скорее наездами, и в один из таких визитов в родовое имение обнаружил восьмилетнюю девочку, в которой узнал свою дочь.

— Вся дворня злорадно называла её барышней, — рассказывал Тургенев Афанасию Фету, когда тот посетил его в Париже в доме Виардо, — и кучера преднамеренно заставляли её таскать непосильные ей вёдра с водою. По приказанию моей матери девочку одевали на минуту в чистое платье и приводили в гостиную, а покойная мать моя спрашивала: «Скажите, на кого эта девочка похожа?» Полагаю, что вы сами убедились вчера в лёгкости ответа на подобный вопрос. Всё это заставило меня призадуматься касательно будущей судьбы девочки; а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без совета мадам Виардо, то и изложил этой женщине всё дело, ничего не скрывая. Справедливо указывая на то, что в России никакое образование не в силах вывести девушек из фальшивого положения, мадам Виардо предложила мне поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с её детьми. Удивительно, что хотя её вывели уже довольно взрослой, она почти забыла русский язык. Полина! — обратился он к своей дочери. — Неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну как по-русски «вода»?

— Не помню, — отвечала Пелагея.

— А хлеб?

— Не знаю.

— Это удивительно! — воскликнул Тургенев, но тут же вернулся к теме мадам Виардо. — И не в одном этом отношении, — добавил он с азартом в глазах, — я подчинён воле этой женщины. Нет! Она давно и навсегда заслонила от меня всё остальное, и так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит моё лицо носом в грязь. Боже мой!

Полина Виардо на протяжении всей жизни оставалась тургеневской музой, но несмотря на постоянный источник вдохновения фантазировать и придумывать полностью из головы писатель не любил, а потому добрая половина его персонажей списана с окружающих и знакомых.

— Какое несчастье, что Боткин мне друг! Как бы мне хотелось изобразить его, и ручаюсь, что портрет вышел бы верен, — говорил Тургенев о своём литературном единомышленнике, на суд которого представлял свои новые вещи, прежде чем отдать их в печать.

Впрочем, увлекаясь, он всё же мог что-то и приврать в угоду художественному вымыслу — так что друзья сочинителя, узнавая себя на страницах той или иной повести, потом обижались. Надо сказать, зря, ведь делал он это без злого умысла — просто по легкомыслию. И действительно, Иван Сергеевич, гладко и элегантно скользя по поверхности, не заглядывал в глубины человеческой души и не пытался проникнуть в самую суть общественных явлений, но умел несколькими широкими мазками нарисовать изящную картину частной жизни современного общества. И в то же время, несмотря на тягу автора помещать своих героев в уютную домашнюю атмосферу барской усадьбы, все его действующие лица так или иначе представляют собой типаж социальный, принадлежащий к недавно ушедшей или, наоборот, только наступающей эпохе. На этот счёт у него даже имелась своя теория.

В представлении писателя, все «двигающие историю» личности делятся на два типа — Гамлет и Дон-Кихот (публичная лекция на данную тему была прочитана в 1860-м году перед залом, полным тогдашних петербургских литераторов).

— Все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов, — утверждал писатель. — Почти каждый из нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон-Кихотов; но и Дон-Кихоты не перевелись.

Суть тургеневских построений в том, что шекспировский Гамлет (разновидностью которого является гётевский Мефистофель) воплощает собой скептическое начало, которое подзревает добро в неискренности и нападает не столько на само добро, сколько на ложь, в нём содержащуюся, становясь таким образом главным поборником истины. «И хотя отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточённый бой...» Проблема в том, что Гамлет — эгоист без веры, живущий для себя, он никогда и ничего не может сделать, «тогда как Дон-Кихот, сражающийся с ветряными мельницами, ведёт за собою массы». «Массы всегда следуют за тем, кто, не обращая внимания ни на насмешки большинства, ни на преследования, твёрдо идёт вперёд, не спуская глаз с цели, которая видна, быть может, ему одному. Дон-Кихоты ищут, падают, снова поднимаются и в конце концов достигают. И это вполне справедливо».

— По мудрому распоряжению природы, — подытоживал Иван Сергеевич, — полных Гамлетов, точно так же как и полных Дон-Кихотов, нет: это только крайние выражения двух направлений, вехи, выставленные поэтами на двух различных путях. К ним стремится жизнь, никогда их не достигая.

Слава писателя — и ореол мученичества — пришли к Тургеневу с рассказами «Записки охотника», в которых николаевский режим увидел угрозу основаниям государственности, и при первом удобном случае отправил ретивого сочинителя в ссылку в родное имение — Спасское-Лутовиново, под Орлом. Там ему удалось перейти от малых форм к повестям и романам. В первые годы александровского царствования увидели свет «Рудин» и «Дворянское гнездо»,

посвящённые «людям 40-х годов». В терминологии писателя, слабохарактерным Гамлетам. Но в **1860 году из-под пера Тургенева вышла повесть «Накануне»**, в которой был выведен новый тип персонажа: в отличие от «лишнего человека» он способен на поступок. Одна беда: протагонист оказался не русским, а болгарин.

Действие произведения разворачивается накануне Крымской войны, хотя название книги обыгрывает время её написания — канун «великих реформ». Дочь дворянина-сибарита Елена Стахова влюбляется в болгарского студента Дмитрия Инсарова и решает порвать с пустым аристократическим окружением, выйдя замуж за разночинца и поехав с ним на Балканы, чтобы принять участие в освободительной борьбе славян против османского гнёта. И не случайно, что в противопоставление другим тургеневским персонажам — Рудину и Наталье, а также Лаврецкому и Лизе, — Инсаров и Елена находят своё счастье. Они символизируют новый тип людей, которые нужны России, и переход от либеральной дворянской интеллигенции 1840-х, не принимающей помещичье-самодержавный строй, но не знающей, что делать, кроме разговоров, к разночинской демократии 1860-х, готовой действовать. Впрочем, не прибегая к революции.

— *Когда у нас народятся люди?* — вопрошает один из героев книги.
— *Дай срок, будут,* — уверяет его другой.

«В основе моей повести положена мысль о необходимости сознательно-героических натур — для того, чтобы дело продвинулось вперёд, — признавался Тургенев в письме Ивану Аксакову сразу по окончании новой вещи. — Фигура главной героини, Елены, довольно ясно обрисовывалась в моём воображении; но не доставало героя, такого лица, которому Елена, при её смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться». И действительно, Гамлетов в нашей реальности водилось полно, а где было взять Дон-Кихота, который бы встал рядом с волевой «тургеневской девушкой»? Как это случалось прежде, Ивану Сергеевичу помог случай и наметанный глаз художника — своего Инсарова он рисовал с живого человека, а заодно дописал новую концовку для переиздания «Рудина»: погибнув на революционных баррикадах в Париже, Гамлет в некотором роде тоже стал Дон-Кихотом.

Неравнодушные читатели оценили новаторство Тургенева, правда, каждый по-своему. Вокруг романа «Накануне» поднялся большой шум, а писатель попал под перекрёстный огонь критиков из консервативного и прогрессивного лагерей, что часто случается с теми, кто пытается угодить сразу двум противоположным сторонам, в данном случае — «поженить» либералов и демократов. Иван Гончаров вообще обвинил Тургенева в «плагиате»: дескать, его именитый тёзка подслушал высказанный вслух им, Гончаровым, сюжетный ход и немедленно переложил на бумагу.

— Ещё Белинский сказал однажды про меня, — припоминал вышедший из купеческого сословия литератор, — что другому моего первого романа, «Обыкновенной истории», стало бы на десять повестей, а он, то бишь я, всё в одну рамку уместил! И Тургенев, слышавший тогда этот разговор, буквально исполнил это, наделав теперь из моего «Обрыва» и «Дворянское гнездо», и «Отцы и дети», и «Накануне», возвращаясь не только к содержанию, к повторению характеров, но даже к плану его!

Впрочем, спор писателей тогда разрешил дружеский «третейский суд», постановивший, что вины за Тургеневым нет, тем более что гончаровского «Обрыва» на бумаге ещё не существовало — роман, считающийся завершением трилогии, выйдет лишь через много лет.

В свою очередь, основной претензией представителей бомонда была непозволительная «пошлость» главной героини, своим «плебейским» поведением шокировавшей выходцев из благородного сословия. Ведь для дворянской аристократии важно что? Правильно, чтобы соблюдались приличия, иначе *que dira le monde?* Что скажет свет? Тургеневская барыня нарушила все мыслимые приличия, а свет такого не прощает. Нет, высокой нравственностью все

эти князья и графы не отягощены — сплошное лицемерие. Дворянин может удовлетворять любые свои прихоти, хоть девок в конюшне валить, главное — чтобы никто не узнал, иначе случится скандал. Что характерно: в аристократической среде, где многие браки заключались по мудрому расчёту родителей, дворянки через одну изменяли своим благоверным, называя это красивым словом «адюльтер», а в случае конфуза муж признавал нажитого на стороне ребёнка своим, на чём история и кончалась, но случись обрюхатиться девушке незамужней, она тут же становилась «падшей женщиной», а двери «приличных» домов становились для неё закрыты (это отчётливо показано у Всеволода Крестовского в «Петербургских трущобах»).

Добролюбов, откликнувшийся на литературную новинку одной из своих рецензий, в свойственном ему стиле расставил акценты так, что на поверхность вышли смыслы, не закладывавшиеся в произведение его автором. Так, разбирая роман Ивана Гончарова «Обломов» и пьесу Александра Островского «Гроза» — в хрестоматийных статьях «**Что такое обломовщина?**» и «**Луч света в тёмном царстве**» — критик «Современника» фактически поставил диагноз существующему в стране социально-политическому строю. Из творчества «народного драматурга» выводилось, что царская (главным образом, николаевская) Россия — «тёмное царство», в котором бал правят самодуры, наделённые властью или деньгами, основная масса людей настолько темна, задавлена и забита, что не осознаёт за собой даже тех немногих прав, которые имеет по закону, а для отдельных нравственно сильных личностей, не способных жить в таких условиях, единственный выход — утопиться в Волге. Однако, писал критик, «чуждое дело! — в своём непререкаемом, безответственном, тёмном владычестве, давая полную свободу своим прихотям, ставя ни во что всякие законы и логику, самодуры русской жизни начинают, однако же, ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная перед чем и почему. Помимо их, не спросив их, выросла другая жизнь; с другими началами, и хотя далеко она, ещё и не видна хорошенько, но уже даёт себя предчувствовать и посылает нехорошие видения тёмному произволу самодуров».

Теперь в статье «**Когда же придёт настоящий день?**» Добролюбов подводил к необходимости освобождения от «внутренних турок», под которыми понимались жадные помещики и вороватые чиновники. В общем, роман Тургенева трактовался как призыв к революции. Пока же вопрос о смене строя не поставлен на повестку дня, «каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня». Однако рецензент заключал: «Придёт же он, наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалёк от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..»

Прежде чем быть напечатанной, статья Добролюбова попала на стол к цензору Владимиру Бекетову, отвечавшему за «Современник». Из желания угодить маститому писателю он показал рецензию Тургеневу, а тот закатил Некрасову, бывшему издателем журнала, скандал.

— Выбирай: он или я, — заявил литературный генерал народному поэту.

Николай Алексеевич пытался замять ситуацию, сохранив для журнала обоих сотрудников, однако его хлопоты оборвал Панаев.

— Никакого соглашения не может быть с Тургеневым, — отрезал соиздатель. — Я был в театре, и там мне говорили, как о деле решённом, что Тургенев не хочет более иметь дела с «Современником», потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи. Насколько я понимаю, здесь не обошлось без нащёптываний Анненкова.

Первые признаки того, что дело идёт к разрыву, проявились ещё прежде скандала из-за злополучной статьи — когда «Накануне» вышло в «Русском вестнике», уверенно дрейфовавшем от либерализма к оголтелому консерватизму, хотя Тургенев уверял, что пишет для родного «Современника», а потом оправдывался, что, мол, Катков едва ли не силой забрал у него когда-то давным давно обещанную рукопись, буквально пристав с ножом к горлу. Благодаря же труду Добролюбова тиражи некрасовского издания росли, отбивая аудиторию даже у герценовского «Колокола», который стал терять свой престиж и уже не представлял былого интереса

— демократам не хватало остроты, а либералам, наоборот, умеренности. В общем, **Некрасов выбрал Добролюбова, а из «Современника» вместе с Тургеневым ушёл целый ряд либерально-дворянских авторов**, включая Льва Толстого, Ивана Гончарова, а особенно — Василия Боткина, Павла Анненкова и Александра Дружинина, которые ратовали за эстетическое «пушкинское» начало в противовес сатирической «гоголевской» литературе. Это означало окончательный раскол между либералами и демократами.

— Некрасов трусил и напечатал другую статью, — храбрился на публике Тургенев, когда статья Добролюбова всё же была напечатана.

— Но цензор утверждает, что никого подлога нет, — возразил кто-то из присутствующих.

— Бекетова подкупили, чтобы он выгораживал Некрасова. Вот увидите, без Тургенева «Современник» погибнет, — тут же заступались за писателя его сторонники.

«Когда увидели, что предсказания не исполнились и „Современник“, — писала Панаева, — с уходом из него Тургенева не только не погибает, а напротив, подписка на него значительно увеличивается, тогда преследования Добролюбова перешли все границы: стали распространять слухи, что в „Современнике“ свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и водворить один грубый материализм...»

Уязвлённый Иван Сергеевич, к этому времени наведывавшийся на родину исключительно наездами, потому как богоспасаемому отчеству предпочитал европейские просторы, вновь поспешил удалиться за кордон — с намерением засесть за новую повесть под рабочим названием «Нигилист», заглавным героем которой должен был стать Добролюбов. Между тем вся эта история самым пагубным образом сказалась на здоровье Николая Александровича, подорванном чахоткой, и по сути свела его в могилу.

Последние надежды публициста были связаны с целебным воздухом южных морей — всю первую половину 61-го он провёл в Италии, но, увы, облегчения тёплые зефиры Средиземноморья ему не принесли. Свою горечь он изливал в стихах:

*Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю
Верно буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезёю.*

Уже прикованный к кровати и сознавая свою обречённость, молодой человек — ему было всего-то двадцать пять — сокрушался от досады:

— Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать... ничего! Как зло насмеялась надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы ещё года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное... теперь ничего, ничего!

*Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать...*

— напишет Некрасов на смерть своего сотрудника, а сам о себе Добролюбов оставил такую стихотворную эпитафию:

*Свободный, как птица, не связанный сроком
Журнальной подписки и выхода книжечек,
Являюсь я редко, всегда ненароком, —
Но яркими буквами след свой я выжес
В сердцах благодарных российских сограждан.
Мой свист облегал их сердечные раны;
Как влага в пустыне, я был ими жаждан...*

— намекал он на свой любимый «Свисток», выходивший в качестве нерегулярного сатирического приложения к «Современнику».

Добролюбова похоронят осенью 1861 года на Волковском кладбище рядом с могилой Белинского — впоследствии этот участок под названием **Литераторских мостков** станет своего рода писательским некрополем Петербурга.

— Он пал жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни, а затем и до смерти. А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем, — нарушал кладбищенскую тишину Чернышевский, оплакивая безвременный уход товарища.

Часть II. Нарастание противоречий

ГЛАВА 5. Великая реформа и обманутые надежды (1861—62)

Освобождение крестьян. 5/17 марта 1861 года, в последний день масленичной недели, когда православный народ наелся блинов, напился водки, натешился в кулачных боях, катании с горок и взятии снежных крепостей, а также отплясал хоровод вокруг горящего обрядового чучела, прихожане сходились в церкви и храмы по случаю Прощёного воскресенья. В этот день по всей стране священнослужители зачитывали заблаговременно разосланный царский манифест, а в столице империи, куда накануне нагнали усиленный контингент блюстителей правопорядка, Александр II пожелал лично огласить основные положения документа собравшейся у Михайловского манежа петербургской публике и солдатам гвардии.

— Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, отменяется навсегда, — торжественно провозгласил царь-освободитель.

Затесавшийся в толпе слушающих паренёк — лакей одного из юных князей, готовившего стать придворным камер-пажом — поспешил с этой новостью к молодому барину, благо тот несмотря на титул исповедовал убеждения весьма революционные.

— Князь, воля! По городу читают манифест.

— Ты сам видел? — осведомился курсант Пажеского корпуса. Звали его — Пётр Кропоткин.

— Да. Вывешен в Гостином дворе. Народ стоит кругом. Один читает, а все слушают. Воля!

Манифест гласил:

*«Божиею милостью
Мы, Александр Второй
Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский
И прочая, прочая, прочая.
Объявляем всем Нашим верноподданным.*

*...Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, МЫ
усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустроая
высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества,
не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным...*

*МЫ начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству...
И доверие НАШЕ оправдалось.*

*Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им
земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в
постоянное пользование **усадебную их оседлость** и сверх того... определенное
в положениях количество полевой земли и других угодий. Пользуясь сим
поземельным наделом, **крестьяне обязаны исполнять в пользу помещиков**
определенные в положениях **повинности**. В сем состоянии, которое
есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными. ...с **согласия**
помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли
и другие угодья. ...крепостные люди получают в свое время полные права
свободных сельских обывателей.*

Для правильного достижения сего МЫ признали за благо повелеть:

...До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности.

...Россия не забудет, что [благородное дворянское сословие] добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовью к ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян...

Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с НАМИ Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного.

Дан в Санкт-Петербурге, в девятнадцатый день февраля, в лето от рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят первое, царствования же НАШЕГО в седьмое».

Помещики (Тургенев звал их «плантаторами») ходили мрачнее тучи. На паперти недавно достроенного Исаакиевского собора, где после чтения манифеста тоже столпились радостные мужики, кто-то с ухмылкой окликнул поспешающего домой господина:

— Что, барин? Теперь фюить!

Однако радоваться было рано. Лев Толстой, обосновавшийся к этому времени в своём имении в Ясной Поляне, под Тулой (правда, в этот момент он путешествовал по Европе — новости застали его в Брюсселе), прочитав опубликованный манифест, писал в Лондон Александру Герцену:

«Не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Ещё не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже учёному крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний».

С ним соглашался Иван Тургенев, тоже обращавшийся к Искандеру, но из Парижа:

«Такое впечатление, что написано по-французски и переведено на неуклюжий русский каким-нибудь немцем. Есть фразы, которых ни один русский мужик не поймёт».

Лондонский изгнанник, искренне радуясь свершению реформы, в ответ распекал своих корреспондентов: Льва Николаевича — за излишний радикализм: мол, он «не думает, а всё, как под Севастополем, берёт храбростью и натиском», Ивана Сергеевича — за «рауты с князьями, боярами и воеводами» и обоих — за то, что в такой великий момент укатали за границу. «А ведь хороши вы все, таскающиеся в Европе для-ради прохладения, когда долг, разум и сердце заставляют быть в России!»

Тургенев, уже спешивший в свою деревню, полагал, что несмотря на нескладный слог манифеста его суть мужик всё-таки «раскусит», а может даже и оценит, ибо «дело это устроено, по мере возможности, порядочно». Однако в действительности, выходя из сельских церквей, народ в провинциях пребывал, как говорили потом очевидцы, словно в тумане.

— Получается, помещики упростили царя дать им ещё два года, а там объявят настоящую волю. Так что ли? — спрашивал один мужик другого.

— Больно хитро написано! — отвечал односельчанин, осеняя себя крестным знаменем.

На самом деле ларчик просто открывался. Прямо здесь и сейчас ничего не менялось: пока что мужик продолжал пахать на своего господина. До заключения **уставной грамоты**, на составление которой отводилось два года, крестьяне считались **временнообязанными** — продолжали платить оброк или отрабатывать барщину за пользование землёй, а барин, фактически сохраняя за собой полицейские функции, мог вмешиваться в вопросы сельского самоуправления.

Главные споры развернулись вокруг **крестьянского надела**, размер которого определялся природно-климатическими условиями в той или иной губернии и в частности плодородностью местных почв. Всё зависело от географического положения. В **центральной** части страны — речь о белорусской, великорусской, новороссийской областях — крестьяне уже давно больше зарабатывали промыслами и отходами, с которых и платили денежный оброк, поэтому там дворяне предпочитали избавиться от ненужных десятин и выручить побольше денег, а потому могли даже «прирезать» лишней земли. Напротив, в **чернозёмной** полосе, дававшей основную долю урожая, добрый барин наоборот старался «отрезать» от крестьянских наделов в свою пользу, а в **южных степях**, где земля нужна была ещё и для скотоводства, помещики оставляли мужиков практически без земли. «**Отрезки**» — иногда они доходили до пятой части крестьянского надела — делались не просто из жадности, а с расчётом впоследствии заставить селян арендовать господские участки, которые выкраивались таким образом, чтобы перегородить доступ к крестьянской же пашне, а также необходимым для ведения хозяйства угодьям — лугам и лесам. Луг — это пастбище или сенокос, оба требуются для прокорма скотины, а лес даёт строительный материал и топливо.

«Когда наступил срок для составления уставной грамоты, — свидетельствовал Салтыков-Щедрин, — помещик без малейшего труда опутал будущих „соседушек“ со всех сторон. И себя, и крестьян разделил дорогою: по одну сторону дороги — его земля (пахотная), по другую — надельная; по одну сторону — его усадьба, по другую — крестьянский порядок. А сзади деревни — крестьянское поле, и кругом, куда ни взгляни, — господский лес... Словом сказать, так обставил дело, что мужичку курицы выпустить некуда».

Но это было полбеда. На практике крестьяне получали наделы меньше, чем обрабатывали раньше, своим качеством земля выходила хуже прежнего, клинья помещичьих участков создавали чересполосицу, а платить за это удовольствие приходилось дороже, чем оно стоило на самом деле. Доходило до того, что переплачивали втридорога, а **средний надел** в расчёте на ревизскую душу составлял **меньше четырёх десятин**. На выходе такой расклад означал невозможность ведения рентабельного хозяйства.

Конечно, детали сделки полюбовно оговаривались между помещиком и мужиками, но последнее слово было за дворянином — вздумай тот обделить «вольного хлебопашца», повернёт всё так, что комар носа не подточит.

Блюсти за недопущением самых вопиющих злоупотреблений был призван институт **мировых посредников**, которыми проверялись заключаемые сторонами уставные грамоты и урегулировались возникавшие в процессе их составления споры. В посредники шли наиболее сознательные и прогрессивные представители благородного сословия, считавшие своим долгом послужить на благо народа, за несчастья которого несли историческую вину. Среди них — писатель Лев Толстой, западник-правовед Кавелин, славянофилы Самарин и Черкасский, учёные Пирогов, Сеченов и Тимирязев. Однако на чрезмерное заступничество за крестьянские права смотрели косо, да и жизнь могли подпортить.

— Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что всё дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне *des bâtons dans les roues* со всех сторон, — говорил Лев Толстой, разумея под «батонами» те самые палки, что не дают крутиться колёсам.

А в одной из губерний, где мировой съезд сложился целиком из крепостников, единственному затесавшемуся в их рядах либералу предложили добровольно уйти в отставку, однако тот стал упираться:

— Мировой съезд не имеет права мне делать таких предложений... я служу не дворянам.

— Кому же? — удивлялось собрание помещиков.

— Краю, в котором живу, — с гражданским пафосом отвечал общественный деятель.

Таким любителям правды и справедливости, в зависимости от обстоятельств, грозили расправой, в лучшем случае — судом, ставя в вину «слишком самостоятельную деятельность и невнимание к интересам дворян».

Поскольку земля — собственность помещика, тот мог вообще не отдавать своим крестьянам ни десятины, выделив лишь, как того требовал закон, причитающуюся землепашцам «**усадебную оседлость**», то есть землю под крестьянским домом и приусадебный участок, однако в таком случае помещик не получал от государства ни копейки. Мужики тоже мало прельщались перспективой сэкономить на выкупе и остаться буквально с двумя грядками огорода, обрекая себя на существование впроголодь. Обеим сторонам приходилось договариваться.

После заключения соответствующего соглашения деревня **переходила на выкуп**, неся обязательства уже перед государством, а крестьяне переставали считаться временнообязанными и становились **свободными сельскими обывателями**. Принято считать, что к 1861 году в стране проживало почти 74 миллиона подданных. Как видно из данных 10-й ревизской переписи, проведённой накануне реформы, из них не менее 60% приходилось на разного рода крестьянство. В первую очередь новые правила коснулись 23 миллионов крепостных мужиков и баб (30% всего населения), а следом ещё 20 миллионов государственных и 1,5 миллионов дворцовых крестьян. В случае государственных и дворцовых, принадлежавших лично царской семье, речь шла только о выкупе земли, а применительно к крепостным — ещё и об обрете-нии ими личной свободы, которая заключалась в том, что больше не требовалось разрешения помещика на реализацию дарованных царём гражданских прав. Впрочем, персональная воля каждого отдельного мужика резко ограничивалась **общиной**, которая коллективно владела выкупаемой землёй, сообща вершила суд и решала все дела в деревенской округе. Главным ограничителем свободы служила **круговая порука**, связывавшая жителей деревни необходимостью внесения выкупных платежей и уплаты государственных податей. Не платишь ты — платит твой сосед. Поэтому отдельно взятый крестьянин не мог оставить свой надел и по собственному почину уехать в другое село или в город. Требовалось благоволение родителей и дозволение общины, без которого не получить отпускного документа. Вопрос этот, как и вообще дела сельского самоуправления, решался главами семейств на **сельском сходе**. Сход выбирал **сельского старосту, сборщика податей и писаря**, платил им за их работу жалование, а также делегировал **гласных** на **волостной сход**. Волость стала новой административной единицей, объединявшей несколько сёл и над которой, как и прежде, стояли уезды и губернии.

Для проведения **выкупной операции** государству пришлось проявить свойственную финансовым «фокусникам» ловкость рук и изобретательность. Поскольку казна, ещё не оправившаяся от бремени военных расходов и страдавшая от постоянного дефицита, свободных средств в своём распоряжении не имела, весь банкет имелось в виду оплачивать из кармана его участников, если быть точным, — за счёт крестьян, которым для выкупа земли государственным банком предоставлялся кредит под шесть процентов годовых. «Первоначальный взнос» составлял примерно одну пятую долю всей суммы, а остальная часть долга погашалась равномерными ежегодными платежами. Полагали, что **выкупные платежи** растянутся на 49 лет, однако с учётом того, что жители деревни переходили на выкуп весьма медленно и неохотно (за первые два года — только 15% хозяйств, за двадцать лет — порядка 85%, а потом переход на выкуп стал обязательным), в реальности процесс выкупа наделных земель, как это станет ясно впоследствии, должен был завершиться не ранее 1911—1932 годов.

Помещик, в свою очередь, имея на руках соглашение о продаже земли, получал полагающиеся ему деньги от государства, правда, не наличными, а в виде выпущенных правительством бумаг, загвоздка с которыми заключалась в том, что они не предусматривали возможность обналичивания всей причитающейся продавцу суммы в один присест, зато (благодаря бумагам были ценными, а не просто бумагой) благодаря набегающим на них процентам, прино-

сили владельцу сумму, сопоставимую с прежним годовым доходом от имения — тем самым оброком, что раньше выдавали на-гора мужики. По крайней мере, в теории — если за продавцом не числилось долгов перед казной и если имение в принципе приносило доход, ведь имущественное положение дворян варьировалось очень сильно.

Помещиков в стране насчитывалось чуть более 100 тысяч семей, из них почти половина — это безземельное и мелкопоместное дворянство, владевшее не более сотней душ. Прокормиться на эти крохи оно не могло и вынуждено было идти служить. Учитывая же, что заложено и перезаложено так или иначе было почти две трети имений (если быть точным — 44 тысячи дворянских гнёзд с общим долгом на сумму 425 миллионов рублей, не считая хозяйств, обременённых ссудами под залог только крестьянских душ), то, за вычетом задолженности (на 250 млн рублей), и более зажиточный помещик не всегда мог рассчитывать на прежнюю сытую и беззаботную жизнь.

Мужикам было не легче, ибо с наделом в три-четыре десятины особо не разгуляешься: хорошо, если в урожайный год семью прокормишь, а о нормальном товарном производстве и речи не могло идти. Да и проценты по кредиту, не говоря о прочих налогах, никто не отменял. Как метко подметил народный поэт, пытаюсь отыскать, кому в пореформенной России жить хорошо:

*Порвалась цепь великая,
Порвалась — раскочилась:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!*

Крестьянская реформа во многом носила компромиссный характер — а потому не устроила никого. Царю приходилось учитывать интересы как дворянского, так и крестьянского сословий, а разрубить этот социально-экономический узел, соблюдая их полностью, не представлялось возможным. Как ни крути, часть чьих-то прав неизбежно будет ущемлена, причём каждая из сторон будет считать себя потерпевшей, а потому первоочерёдной задачей власти становилось успокоение сословий. Успокоить недовольных мужиков могли военно-карательные отряды, негодующих помещиков — уступки в политической сфере.

Перестановки в правительстве. Уже в апреле, спустя месяц после оглашения реформы, император под давлением крепостников отправил **в отставку** главных «устроителей крестьянского быта» — министра внутренних дел **Сергея Ланского** и его товарища **Николая Милютина**. Как говорилось в пьесе Шиллера, мавр сделал своё дело...

— Мне крайне жаль расстаться с вами, — говорил царь Милютину, — но я должен: дворянство называет вас «красным».

«Жида нашли, за что распять Христа, афиняне — за что отравить Сократа. Стоит ли удивляться, как обошлось самодержавие с Милютиным. Нет пророка в отчестве своём!» — возмущались либералы.

Некрасов посвятил отставнику такие строки, удостоив звания «кузнеца-гражданина»:

*Чуть колыхнулось болото стоячее,
Ты ни минуты не спал.
Лишь не остыло б железо горячее,
Ты без оглядки ковал.
В чём погрешу и чего не доделаю,
Думал — исправят потом.
Грубо ковал ты, но руку умелую
Видно доньне во всём.*

Новым министром внутренних дел стал бывший курляндский губернатор **Пётр Валуев**. Сын московского чиновника, он получил образование в университете старой столицы, некоторое время вращался в оппозиционных студенческих кружках и успел поработать под руководством Михаила Сперанского, однако карьере сделал, выполняя поручения курляндского губернатора, пост которого со временем занял сам. С началом царствования подал записку «Дума русского», адресованную главному либералу страны — государеву брату, который, недолго думая, вызвал того из Митавы и посадил директором департамента в министерство государственных имуществ, чтобы присматривать за главой ведомства, Михаилом Муравьевым, принадлежавшим к партии крепостников. Валуев умел хорошо писать, обладал обширными связями и ловко лавировал между разными течениями, всюду считаясь за своего человека. «Свобода не должна нарушать порядка», — говаривал Пётр Александрович, разумея под этим твёрдую власть, по собственному почину творящую реформы. С этой точки зрения чиновник явился компромиссной для либералов и консерваторов фигурой у руля главного ведомства страны.

— Je vous demande de l'ordre et des améliorations qui ne changent point les bases du gouvernement, — объявил государь свою волю при назначении сановника. Он требовал «порядка и улучшений, которые ни в чём бы не изменили основ правительства».

— Ваше величество, в данных затруднительных обстоятельствах просил бы лишь одного: позволения прямо и без обиняков высказывать мои мысли, — отвечал новоиспечённый министр.

— Я вам это приказываю.

— Государь, полагаю также, что за крестьянским вопросом необходимо двинуть и все другие, — доложил сановник и получил указание готовить дальнейшие реформы.

Самодержец дал ясно понять, что в вопросе уступок недовольным помещикам дальше удаления Ланского и Милютин не пойдёт, и в поддержку своего реформистского курса провёл ещё ряд правительственных перестановок, отдав ключевые посты на откуп представителям «либеральной бюрократии» — по сути ставленникам **великого князя Константина**. Во-первых, сам брат государя, формально оставаясь во главе морского министерства (управляющим там был поставлен адмирал Николай Краббе), был назначен **царским наместником в Польшу**. В условиях наметившегося в Варшаве сильного политического брожения, в конце концов вылившегося в массовые беспорядки, приезд туда «державного якобинца», намеренного вернуть полякам утраченные ими вольности, говорил очень много о ходе мыслей Александра II, чей настрой на либеральные реформы не могли сломить даже проявления вооружённой оппозиции. Во-вторых, вместо твёрдого крепостника Алексея Орлова — говорили, старик совсем сошёл с ума и, полагая, что он свинья, ползал на четвереньках, хрюкал и требовал есть не иначе как из корыта — **во главе комитета министров** встал **граф Дмитрий Блудов**, человек тоже не молодой, видный николаевский сановник, но с первыми дуновениями александровской оттепели вспомнивший о своём юношеском увлечении либерализмом и идеалами просвещения (впрочем, преклонные лета не позволяли бывшему «арзамасцу» полноценно посвящать себя делам комитета, поэтому фактически это бремя взвалил на себя князь Павел Гагарин). Далее, должность военного министра занял **Дмитрий Милютин** — брат творца крестьянской реформы и военный профессор, во главе министерства финансов встал выходец из морского ведомства — **Михаил Рейтерн**, его сослуживец **Александр Головин**, «правая рука» великого князя, возглавил министерство народного просвещения, а **Дмитрий Замятин**, вышедший из-под крыла Михаила Сперанского и всю жизнь проработавший в правовом ведомстве, сменил одиозного графа Панина и стал министром юстиции.

Довершало череду назначений учреждение нового органа власти — **совета министров**, который, как следует из названия, включал в себя всех глав исполнительных ведомств, но в

отличие от комитета министров рассматривал вопросы, не просто нуждавшиеся в межотраслевом согласовании, но и требовавшие личного присутствия государя, который и являлся председателем одного механизма.

Довольный самодержец, расставив у руля ключевых ведомств надёжных управленцев, со спокойной душой укатил в свою новую крымскую резиденцию — только что приобретённый у одной графской фамилии участок в Ливадии, где на месте старого дома предстояло возвести полноценный царский дворец. Всё ради августейшей супруги. Мария Александровна, к 37 годам родившая Александру восемь детей — двух девочек и шесть мальчиков, — стала страдать от чахоточного недуга, и для поправления здоровья врачи прописали ей более мягкий сравнительно с петербургским климат.

Что касается самого Александра II, то он ждал от своих ставленников реформ в вверенных им сферах общественной жизни, а именно — финансовой, судебной, образовательной, местного самоуправления и военной, которые, в той или иной степени вытекая из уже начатых масштабных трансформаций, должны были привести государственное устройство в соответствие с реалиями буржуазно-капиталистического общества. Эти преобразования, разделившие России на до- и пореформенную, получают название «**великих реформ**», но пока что, здесь и сейчас, империя только переваривала последствия первой из них.

Крестьянские восстания (весна 1861). Крепостниками, которые, как говорилось в официальных документах, «оправдали доверие царя и добровольно согласились на реформу», освобождение крестьян подавалось как «акт величайшей справедливости», а коли так, извольте и дальше гнуть спину на «добраго барина». Однако сметливый русский мужик не поверил.

— Воли без земли не бывает! — говорили одни.

— Да в чём же заключается наша воля — ходи на барщину или плати оброк, эка воля! — негодовали другие.

— Так и то только через два года! — уточняли третьи. — Какая же это воля?

— В два года-то все животы наши вымотают! — дружно заключал сельский сход.

«Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление — всё это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признаёт, ничему не уступает своего убеждения», — констатировал Юрий Самарин отсутствие народного доверия ко всему официальному. После участия в трудах крестьянского комитета славянофил пошёл в мировые посредники, поэтому лично прочувствовал настроения на местах. Почти везде разговоры шли одинаковые, но в иных случаях на почве неверия и недоверия рождались опасные слухи.

— Облыжный указ нам читают! А настоящую золотую царскую грамоту скрывают от нас! Нам отдали всю землю, а работать на барина теперича не следует.

— Сказывали мужики в соседнем селе, что если до Пасхи от помещиков не отобьёмся, навечно останемся все в крепостной зависимости. Надо бы сходить, узнать, что да как.

Действительно, крепостные — вернее, временнообязанные — полагали, что помещики их обманывают, утаивая «настоящую правду», а потому стали внимательно вчитываться в царский манифест. Сельские жители в основной своей массе почти поголовно грамоты не разумели, но всегда найдётся-таки хоть один, с горем пополам обученный чтению и письму. Таких и просили растолковать, что к чему.

За Волгой, в Казанской губернии, есть село **Бездна**. Местный крестьянин Антон Петров — ныне село носит его имя: Антоновка — вызвался читать односельчанам текст «Положения», о котором только и говорили весь последний месяц. Народ, ещё не занятый полевыми работами, пришёл даже с окрестных деревень — всего собралось пять тысяч человек. Превратно истолковав одно из положений документа, чтец убеждал, что, мол, царь дал волю ещё три года назад, а помещики это скрывали, поэтому весь хлеб, собранный и проданный за это время, надо взыскать с господ.

— Вся земля переходит крестьянам. Значит, вы не должны ходить на барщину и платить оброк, — заключил Петров.

Многие подозревали это и без него. Сказанное же лишь подкрепило их собственные убеждения. Возмущённые мужики взялись за вилы и топоры. Хорошо ещё, если дело ограничится вырубкой барского леса, а иногда ведь под горячую руку попадались чиновники и попы, незавидной участи которых можно только посочувствовать. Когда стало ясно, что уговоры на сельских обывателей не действуют, из губернии прислали солдатскую команду. Начальство не церемонилось и на отказ выдать зачинщика велело открыть огонь по безоружной толпе. Полсотни убитых на месте, ещё сотня-другая скончалась от ран. Подстрекателя, в итоге вышедшего из избы с иконой в руках, арестовали и расстреляли по приговору военно-полевого суда, наиболее буйных осудили на каторгу, а попавших под раздачу рядовых участников удостоили публичной порки.

Радость казанских помещиков не знала предела. Местное дворянство праздновало шампанским и поздравляло друг друга с «победой».

— Жалко только, что мало их поубивали, — сетовали провинциальные дамы.

Впоследствии один русский писатель — внук александровского министра, оглядываясь назад, в шутку предложит «дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно», имея в виду, что действия администраторов нынешнего царя ещё аукнутся его порфириносному внуку. Однако поволноваться пришлось и самим дедам. Аналогичные сцены весной 1861 года, несмотря на тянувшиеся до середины мая лютые холода, происходили в десятках других губерний по всей стране. Всего насчитывалось **около сотни восстаний**, для разгона которых потребовалось применение силы. Бездненское стало лишь наиболее резонансным. Сравниться с ним могли разве что беспорядки в пензенском селе **Кандиевка** — там объявился самозванец, выдавший себя за великого князя Константина, а сами восставшие впервые в истории страны вывесили красный флаг.

*О сердце скорбное народа!
Среди твоих крошечных мук
Не жди, чтоб счастье и свобода
К тебе сошли из царских рук.
Не эти ль руки заковали
Тебя в неволю и позор?
Они и плахи воздвигали,
И двигали топор,*

— напоминал, обращаясь к русским людям, революционный поэт Михаил Михайлов.

Позже, встречаясь с «правильными» крестьянами, которые почти сразу обо всём договорились со своими помещиками и выбрали волостных старост, Александр II наставлял сельских жителей:

— Я дал вам свободу, но помните, свободу законную, а не своеволие. Поэтому требую от вас прежде всего повиновения властям, мною установленным, и точного исполнения повинностей. Там, где уставные грамоты ещё не составлены, они должны быть составлены к назначенному сроку, а после 19 февраля 1863 года не ожидать никакой новой воли и никаких новых льгот. Слышите ли? Не слушайте толков, которые между вами ходят, и не верьте тем, которые вас будут уверять в другом, а верьте одним моим словам. Теперь прощайте. Бог с вами!

Прокламационная кампания (лето 1861). К лету, с началом сельскохозяйственных работ, крестьянские волнения действительно стихли, но тут уже в дело вступила воодушевлённая демократическая интеллигенция, стремившаяся поддержать протестные настроения и пустить их в революционное русло. Откуда ни возьмись появились **прокламации**, призывав-

шие готовиться к свержению власти помещиков — запастись ружьями, сговариваться с солдатами и, не показывая виду, ждать отмашки.

В этом отношении примечательны два документа, разнящиеся по стилю, но сходные по содержанию. Первый — за предполагаемым авторством Николая Чернышевского — был написан в марте и обращён непосредственно к крестьянам, второй — напечатанный Николаем Огарёвым в июньском номере «Колокола» — разъясняет те же идеи читающей публике.

Приписываемое перу редактора «Современника» воззвание «Барским крестьянам» глаголю:

«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. На два года остаётся всё по-прежнему: и барицина остаётся, и помещику власть над вами остаётся, как была. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Пять лет, либо десять лет проволочут это дело. Только в словах и выходит разница, что названья переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно-обязанными вас звать велят; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, — вишь ты глупость какая! Так значит, живите вы по старому в кабале у помещика все эти годы, два года, да семь лет, значит девять лет, как там в указе написано, а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо и больше».

Программная статья лондонского эмигранта пыталась найти ответ на вопрос: «Что нужно народу?»

«Что нужно народу? Очень просто, народу нужна земля да воля. Земля, воля и образование.

Народ спокон веков на самом деле владел землёй, на самом деле лил за землю пот и кровь, а приказные на бумаге чернилами отписывали эту землю помещикам да в царскую казну. Вместе с землёй и самый народ забрали в неволю и хотели уверить, что это и есть закон, это и есть божеская правда. Однако никого не уверили. Плетьми народ секли, пулями стреляли, в каторгу ссылали. Народ замолчал, а всё не поверил.

Пуще всего надо народу сблизиться с войском. Шуметь без толку и лезть под пулю вразбивку нечего; а надо молча собраться с силами, искать людей преданных...»

Среди петербургской интеллигенции также ходила нелегально отпечатанная в городе на Неве текстовка «Великорусс», призывавшая «просвещённую часть нации» брать «в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства» и требовавшая созыва учредительного собрания для выработки конституции; название же «Великорусс» подводило к необходимости отказа от «насильственного удерживания» Польши и «других цивилизованных племён» в составе православной империи.

Студенческие волнения (осень 1861). «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ царём обманут», — делала вывод разночинская молодёжь. Вдохновляясь теорией Александра Герцена о том, что крестьянская община — это, мол, готовая ячейка будущего социалистического общества, основанного на многовековом опыте коллективного владения землёй, демократы-разночинцы стали готовиться к революции и, следуя совету своих кумиров из «Колокола» и «Современника», начали сбиваться в тайные кружки и организации. Самая большая, составленная из представителей десятка городов и насчитывавшая несколько тысяч человек, получила название «**Земля и воля**». Её участники

завели нелегальную типографию, под прикрытием книжного магазина распространяли запрещённые издания, в том числе ввезённые контрабандой из-за границы, вели пропаганду герценовских идей «**крестьянского социализма**», вербовали новых adeптов революционного учения и открывали филиалы в провинциальных городах. Идейными вдохновителями «Земли и воли» были Николай Чернышевский и Александр Герцен, а непосредственными организаторами — **Николай Серно-Соловьевич**, его младший брат **Александр Серно-Соловьевич** и товарищ последнего **Александр Слепцов**, которых объединяло то, что все трое происходили из помещичьих семей, в разные годы учились в Лицее и недолгое время успели поработать на чиновничьих должностях. Чуть позже в руководство также войдут **Николай Утин** — сын богатого еврея-выкреста и «правая рука» Чернышевского, а также отставной поручик **Владимир Обручев**, член редакции «Современника». Вероятно, в делах этой тусовки принимал участие и молодой офицер-генштабист, военный профессор **Николай Обручев**, с которым Чернышевский сблизился в редакции нового на тот момент журнала «Военный сборник» (с подачи публициста ведомственное издание получило модное тогда «обличительное направление»). Кроме того, отдельную ячейку представлял собой кружок близких к Чернышевскому литераторов, куда входили Михаил Михайлов, Николай Шелгунов, Владимир Обручев и Всеволод Костомаров — они приняли деятельное участие в издании и распространении прокламаций. Землеуольцы катались в Лондон, колесили по России-матушке и наводили мосты в Петербурге.

Разумеется, своеобразной кормовой базой революции была студенческая среда, а возможность для её использования представилась, когда летом 61-го новый министр народного просвещения, адмирал Евфимий Путятин, занимавший этот пост в течение непродолжительного периода до назначения Головнина, так несвоевременно закрутил гайки: повысил плату за обучение, установил обязательное посещение лекций и запретил любые студенческие собрания. Тогда же были введены «матрикулы», объединявшие в себе функции студенческого билета и зачётной книжки. Целью мер, изначально разработанных графом Сергеем Строгановым (бывший попечитель Московского университета и воспитатель детей Александра II), было подтянуть пошатнувшуюся дисциплину и освободить аудитории от «неблагонадёжных» элементов. Всё, к чему в последние годы успели попривыкнуть учащиеся — право на студенческие «сходки», общественная библиотека, касса взаимопомощи и собственная газета — теперь попадало под запрет. Вместе с тем ужесточение университетских порядков наложилось на искреннее возмущение учащейся молодёжи в связи с половинчатым освобождением крестьян. Сочетание двух этих факторов сыграло на руку тем, кто придал **студенческим волнениям**, всколыхнувшим Северную Пальмиру **осенью 1861 года**, организованный характер.

Вообще-то первые ласточки политической агитации показались на горизонте ещё весной. Тогда в Петербурге «с шумом» похоронили украинского литератора и живописца Тараса Шевченко, бывшего крепостного, никогда не пользовавшегося особой милостью начальства, а следом прошла общественная панихида, по сути — митинг, в связи с расстрелом антиправительственной манифестации в Варшаве. Одновременно студенты и профессора Казанского университета откликнулись на бездненскую трагедию. Вместе с коллегами-семинаристами они устроили панихиду по расстрелянным царскими войсками крестьянам. С началом нового учебного года почин подхватили петербургские студюозусы, превратившие демонстрации в университетскую забастовку.

— Други за народ убитые! Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, — эта земля воззовёт народ к восстанию и свободе... Да здравствует демократическая конституция! — призывал молодёжь казанский профессор Афанасий Щапов, успевший побывать в питерских застенках, но вышедший на свободу после обращения к царю.

— Когда манифест о воле был уже готов, — возвещал другой уличный оратор, — и оставалось только объявить его, русское правительство прежде всего трусило; оно испугалось своего собственного дела, — ну а если вся Россия поднимется? Если народ пойдёт на Зимний дворец? И решили объявить народу волю в великом посту, а балаганы на время масленицы отнесли подальше от дворца — на Царицын луг. Ведь правительство думало, что оно осчастливит свой народ? Где же слыхано, чтобы человек счастливый пошёл бить стёкла и колотить встречающих? Если же правительство боялось народа — значит, оно имело причины его бояться... Всё дело велось в глубочайшем секрете, вопрос разрешался государем и помещиками, никто из народа не принимал участия в работе, журналистика не смела пикнуть — царь давал народу волю как милость, как бросают сердящемуся псу сухую кость, чтобы его успокоить на время...

Цензор Александр Никитенко, также преподававший в университете, был не чужд ценностям просвещения и буржуазным свободам, но происходящие беспорядки не поддерживал, полагая, что эта «скачка сломя голову» до добра не доведёт, а потому-де надо поддерживать правительство — «пускай слабое, только не реакционное».

— Ваши выходы вредят университету и науке, — негодовал проходящий мимо очередного митинга преподаватель.

— Что за наука, Александр Васильевич! Мы решаем современные *вопросы*, — отвечали ему из толпы «крикунов».

«Нет больших врагов у свободы, чем яростные и неразумные её глашатаи и защитники», — хотел сказать бывший крепостной, но промолчал: на него уже никто не обращал внимания.

Молодой профессор-правовед Борис Чичерин, яркий представитель либерального лагеря, пытаясь образумить пустившуюся в разброд и шатания молодёжь, даже выступил с публичной лекцией против «анархии умов» и «буйного разгула мысли», доказывая, что здорovому либерализму не чужды «охранительные начала».

— У нас есть один умный и образованный журналист, да и тот подлец, и один честный журналист, да и тот пустозвон, — говорил Борис Николаевич, под первым разумея Каткова, а под вторым — Ивана Аксакова. — Меня же часто обвиняют, что я переменял свои взгляды. Это не правда — я остался там же, где стоял, просто остальные шарахаются из крайности в крайность. Только энергия разумного и *либерального консерватизма* может спасти русское общество от бесконечного шатания.

В свою очередь Алексей Плещеев, поэт «некрасовской школы», бывший петрашевец, прошедший через ссылку и солдатскую службу, но причастный к делу революционных кружков шестидесятых, отреагировал на чичеринскую концепцию искренним возмущением:

— Как бы вы мало ни сочувствовали студентам, которых выходы действительно часто бывают ребяческими, но согласитесь, что нельзя не пожалеть бедную молодёжь, осуждённую слушать такую дряблую ерунду, такие поношенные, как солдатские портки, общие места и пустозвонные доктринёрские фразы! Это ли живое слово науки и правды?

В стихах, обращённых «к юности», он призывал:

*Несите твёрдою рукой
Святое знамя жизни новой,
Не отступая пред толпой,
Бросать камнями готовой
В того, кто сон её смутит,
Чья речь, как божий меч, разит.*

Масла в огонь подливали стихи и самого «народного поэта» — Николая Некрасова:

Довольно! Окончен с прошедшим расчёт,

*Окончен расчёт с господином!
Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.
И ношу твою облегчила судьба,
Сопутница дней славянина!
Ещё ты в семействе — раба,
Но мать уже вольного сына!*

— Это всё оттого, что они писак из семинарских журналов поначитались! — уверяли либерал-консерваторы. — Положительно утверждаю, что Некрасов, Чернышевский и прочие разлагающим образом влияют на подрастающее поколение. Что они проповедают? Один грубый материализм. Господам демократам плевать на семейную жизнь, на нравственность женщин и на уважение ко всяким авторитетным людям. Впрочем, порядочные литераторы отшатнулись от этой помойки и не дают в неё ни строки, — отзывались они о «Современнике».

— Главный характер эпохи заключается в стремлении к уничтожению всякого авторитета, — соглашался глава минвнудел Пётр Валуев. — Всё, что доселе составляло предмет уважения нации: вера, власть, заслуга, отличие, возраст, преимущества, — всё попирается, на всё указывается как на предметы, отжившие своё время. А что касается Чернышевского... Он — глава радикального оркестра. Нужно тщательнее отслеживать его писанину на предмет замаскированных зловредных мыслей, да и вообще следовало бы посмотреть, нет ли тут прямо его руки, — давал ценные указания министр.

Поправление авторитетов позже обыграет в романе «Бесы» Фёдор Достоевский:

«Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов... заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: „Вы, стало быть, генерал, если так говорите“, то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: „Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!“ Произошёл скандал непоправимый».

От себя добавим, что противоположная сторона слова «материализм» и «прогресс» тоже использовала в смысле самом уничижительном.

Демократизм в университетах дошёл до того, что профессорам — из числа прогрессивных — стали аплодировать, а регроградов зашикивали — как в театре, а за стенами «рассадников просвещения» любое предосудительное с точки зрения либералов и демократов действие, имевшее мало-мальски публичную проекцию, служило поводом для написания коллективного «протеста», собиравшего десятки подписей равнодушных людей. По мере того, как росли запросы солидарной общественности, повышались и требования новых прокламаций, которые теперь обращались не к крестьянству, а к учащейся молодёжи.

«Не народ существует для правительства, а правительство для народа, — сообщало воззвание „К молодому поколению“. — Следовательно, правительство, которое не понимает народа, не знает его нужд и потребностей, действует исключительно в своекорыстных целях, недостойно этого народа. Романовы, вероятно, забыли, что они свалились не с неба, а выбраны народом... Долой их! Нам не нужна власть, оскорбляющая нас; нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны. Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли,

понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье».

Авторство прокламации, отпечатанной в вольной типографии Герцена, принадлежало учёному-лесоводу и демократическому публицисту **Николаю Шелгунову** на пару с поэтом и литератором **Михаилом Михайловым**. Оба входили в «революционную сеть» Николая Чернышевского, а их воззвание увидело свет как раз в сентябре 1861-го.

Ответом властей на волнения студентов явился арест трёх десятков наиболее рьяных участников демонстраций. После того, как несогласные студиязусы объявили забастовку и оказали сопротивление силам правопорядка, за решёткой оказалось уже три сотни бунтарей, а сам университет — временно (почти на два года) закрыт, но проблемы это не решило. Целый ряд молодых профессоров, среди них историки Стасюлевич, Пыпин (двоюродный брат Чернышевского) и Николай Костомаров, а также правоведы Кавелин, Утин и Спасович, заняли сторону репрессированных студентов и в знак протеста против действий начальства подали в отставку, а с наступлением нового 1862 года по стране опять стали ходить прокламации, призывавшие к свержению монархии и обещавшие революцию похлеще французской.

«Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком „Да здравствует социальная и демократическая республика!“ двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. ... Мы будем последовательнее великих террористов 92-го года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами 90-х годов», — запугивал листок **«Молодая Россия»**.

— Что сказать? Думают так у нас многие, да вслух никто не говорит. Разболтали ребята то, о чём молчать следовало! — отзывались причастные к деятельности подпольных кружков.

Автором возвания был помещичий сын, московский студент **Пётр Зайчневский**, взятый полицией за революционную деятельность и ожидавший отправки на каторгу, а писано оно было — прямо во время следствия, за решёткой — от имени некоего «центрального революционного комитета», который в реальности не существовал, но страху среди благородной публики наделал изрядно, тем более что распространение нелегальных листовок совпало с чередой **пожаров**, поразивших Петербург в мае 1862 года.

Майские пожары (1862). От Московских ворот, некогда южной границы города, в сторону северо-востока ответвляется Лиговский проспект — пересекая Обводной канал и Невский (в районе Московского вокзала), он тянется почти до Таврического сада. Лиговка традиционно служила центром сосредоточения извозчицких дворов, питейных заведений, бандитских притонов и приютов для женщин лёгкого поведения, одним словом — разного рода злочных мест. Первые дома запылали там, но самый грандиозный пожар охватил главный рынок Петербурга — Апраксин двор. Горел и выгорел почти дотла едва ли не весь квартал между Фонтанкой и Садовой.

— Ах! — вскрикнула одна женщина. — Апрашка загорелась! Смотрите, дым какой!

— Известно — всё поляки поджигают, — сразу установил кучер кого-то из господ, глядя на занявшееся зарево, осветившее вечернее небо северной столицы.

— Вместе с нигилистами! — добавил, проходя мимо, важный господин в чиновничьем мундире и с орденом на шее.

— Вот-вот, сказывал мне верный человек, генерал, что студенты с поляками заодно хотели спалить весь город, — подтвердил стоявший в толпе лавочник с горящего рынка.

— Что же полиция смотрит?!

Пламя, полыхавшее почти две недели, наводило на обывателей гнетущий ужас и в общественном сознании с лёгкостью увязывалось воедино с угрозами составителей «подмётных писем». Переполошившийся Фёдор Достоевский, на тот момент известный лишь как автор «Бедных людей» и издатель почвеннического журнала, обнаружив у себя дома одну из недавних листовок, тут же поспешил на квартиру к Николаю Чернышевскому — признанному властителю молодёжных дум.

— Николай Гаврилович, ради самого господина, прикажите остановить пожары! — с порога взмолился бывший каторжанин, вынимая из кармана прокламацию.

— Неужели вы предполагаете, — в свойственной ему степенной манере отвечал хозяин дома, пробежавшись по тексту воззвания, — что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки? Я никого из них не знаю.

— Я этого и не предполагал, — немного замаявшись, стал оправдываться посетитель, — но во всяком случае вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдёт до них. Нужно срочно остановить эту мерзость!

— Хорошо, Фёдор Михайлович, я исполню ваше желание. Лучше скажите, как обстоят дела с вашим журналом? Говорят, брат ваш обременён долгами, — спросил Чернышевский из вежливости, после чего беседа приняла затяжной характер. Усевшись в кресло, Достоевский забыл о причине визита и принялся увлечённо рассказывать о своих проблемах, опомнившись часа через два. Не будем ждать, а вернёмся на холодные улицы майского Петербурга, дойдём до ближайшей книжной лавки и испросим свежую газету — а там...

Версию о том, что поджоги — дело рук радикальной молодёжи, активно подхватывала монархическая и консервативная пресса. Даже арестовали какую-то гувернантку, в дневниках которой нашли сочувственную запись. «В пожарах есть что-то поэтическое и утешительное: они уравнивают состояния», — записала крамольную мысль неосмотрительная девица. Впрочем, установить подлинных поджигателей тогда не удалось, но после давешних студенческих волнений и хождения прокламаций этого и не требовалось. У властей появился отличный повод повесить всё на подпольных революционеров. Требовалось, во-первых, обуздать рассадники антиправительственной пропаганды, а во-вторых, покарать персонально ответственных за творящуюся в стране демократическую вакханалию.

Заккрытие воскресных школ (лето 1862). Как раз в это время разразился ещё один непростительный скандал. Оказалось, что ушлые нигилисты из числа университетских профессоров, учителей гимназий и студенческой молодёжи, прикрываясь заботой о народном благе, наплодили вдоль и поперёк необъятной земли русской несколько сотен так называемых «**воскресных школ**», официально заявленных для обучения взрослого населения — рабочих, ремесленников и крестьян, что само по себе может иметь крайне нежелательные последствия. Зачем отягощать трудовой народ лишними знаниями? Только развращать умы простолюдинов, побуждая в них стремления к изменению своего положения. Однако это было только полбеда. При внимательном рассмотрении выяснялось, что на деле представители демократического движения использовали занятия для пропаганды революционных идей.

Вопрос, приобретший ввиду последних событий особую остроту, дошёл до самого верха. На заседании комитета министров в июне 1862 года Пётр Валуйев, глава ведомства внутренних дел, повёл речь об опасности бесконтрольной просветительской деятельности.

— Прямо здесь, у нас в Петербурге, в таких «школах» уже несколько лет преподаётся учение, направленное к потрясению религиозных верований, распространению социалистических понятий о праве собственности и возмущению против правительства, — предупреждал министр.

— Вот-вот! — соглашался один из видных консерваторов, граф Виктор Панин, стоявший у руля отечественной юстиции. — Вред, как говорится, очевиден. Не надо далеко ходить, господа. В одной такой школе на вопрос: «Кто был Авраам?» — ответ был следующий: «Миф».

Специально созданная комиссия постановила: воскресные школы закрыть до лучших времён под предлогом их реорганизации — с последующей передачей под контроль министерства просвещения.

Аресты. Одновременно летом 1862 года был устроен «**процесс 32-х**» по делу о «**лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами**». То есть за сотрудничество с Александром Герценом и распространение издаваемых им материалов. Установить поджигателей не получилось, поэтому сажали за прокламации. Среди замешанных в революционной деятельности прокатилась череда арестов, хотя некоторым и удалось вовремя переправиться за границу. Центральным фигурантом стал **Николай Серно-Соловьевич** — один из основных организаторов «Земли и воли», хотя, конечно, властям предержащим мечталось упрятать за решётку птицу более высокого полёта. Ведь все понимали, что главный «коновод» — **Николай Чернышевский**; по сути редактор «Современника» — идейный вдохновитель тайной организации. Повод для его помещения в Петропавловскую крепость появился, когда было перехвачено письмо Герцена и Огарёва Серно-Соловьевичу, в котором мельком упоминалась фамилия петербургского публициста, негласно объявленного «главным врагом империи». Вину ему ставилась не только связь с Лондоном, но и авторство прошлогоднего воззвания к барским крестьянам. Доказательств ни по какому из этих пунктов не нашлось — Николай Гаврилович был человеком крайне осторожным и ни в какие авантюры не пускался, понимая, с кем и о чём можно говорить, а когда лучше держать язык за зубами. Злочастная прокламация — и та писана рукой поэта Михайлова, ни к чему не подкопаться. Даже многомесячная слежка за публицистом не принесла никаких зацепок, поэтому следствию пришлось довольствоваться голословными показаниями хозяина нелегальной типографии, где в своё время были отпечатаны листовки. Речь о московском литераторе **Всеволоде Костомарове**, которому Михайлов и передал надиктованный Николаем Гавриловичем текст. Поэта-переводчика взяли с поличным прямо у себя дома и, не имея возможности отвертеться, но желая угодить полиции, отставной офицер стал приплетать к делу и оговаривать встречающих и поперечных, называя нужные сыщикам имена. Сначала отправил в сибирские рудники Михайлова, а войдя во вкус, помог следствию уличить и Чернышевского, хотя для этого ему и пришлось подделывать несколько писем.

Аналогичная кара — заключение в крепость — постигла и кумира нигилистической молодёжи **Дмитрия Писарева**, вчерашнего студента и ведущего сотрудника журнала «**Русское слово**» (1859—66), который, за свой особый радикализм и оголтелое отрицание любых авторитетов, считался рупором нигилизма. На его счету тоже имелась пара-тройка прокламаций, призывавших к свержению царизма.

Из всей этой компании избежал наказания лишь Николай Шелгунов, потому что всю вину взял на себя его подельник (и любовник его жены: они жили «браком на троих») Михаил Михайлов — через несколько лет поэт умрёт на каторге, как и Николай Серно-Соловьевич. Определение участи Чернышевского отняло больше времени — ему пришлось почти два года провести в одиночном каземате, не понимая, в чём конкретно его обвиняют.

Наконец, издание обоих печатных органов революционной демократии — «Современника» и «Русского слова» — было временно (на восемь месяцев) приостановлено распоряжением властей.

На арест соратников революционный поэт Алексей Плещеев — между прочим, одно из подделанных Костомаровым «писем Чернышевского» адресовалось ему — откликнулся стихами:

*Честные люди, дорогой тернистой
К свету идущие твёрдой стопой,
Волей железною, совестью чистой*

*Страшины вы злобе людской!
Пусть не сплетает венки вам победные
Горем задавленный, спящий народ, —
Ваши труды не погибнут бесследные;
Доброе семя даст плод...*

Шестидесятники. В 1862 году словечко «нигилист» сделалось притчей во языцех. Именовали так молодых людей нового поколения, которые исповедовали атеизм, материализм и дарвинизм, занимались естествознанием и наукой в целом, отвергали романтику, поэзию и искусство и вообще не признавали никаких авторитетов. Тот же Писарев со страниц «Русского слова» заявлял, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь — «пройденный этап». Противопоставляя себя холёной и рафинированной аристократии, демократически настроенные юноши зачистую «волос не стригли и в баню не ходили», а девушки, наоборот, носили короткие стрижки и барашковые шапки, подвергая себя грубым насмешкам лавочников и извозчиков. Этакая форма молодёжного протеста. Внешне могло даже показаться, что это просто какой-то юношеский каприз, но нет. Глядя на своих промотавшихся отцов, которые только и делали, что разглагольствовали, «говорили красиво», их дети считали необходимым овладеть тем или иным ремеслом, жить рядом с народом, просвещать его и приносить пользу практическими делами — например, работая сельскими учителями или врачами, заводя ателье и переплётные мастерские. Уже известный нам князь Пётр Кропоткин так объяснял возникновение нигилизма как явления:

«Крепостное право было отменено. Но за два с половиной века существования оно породило целый мир привычек и обычаев, созданных рабством. Тут было и презрение к человеческой личности, и деспотизм отцов, и лицемерное подчинение со стороны жён, дочерей и сыновей. В начале XIX века бытовой деспотизм царил и в Западной Европе. Массу примеров дали Теккереи и Диккенс, но нигде он не расцвёл таким пышным цветом, как в России. Вся русская жизнь — в семье, в отношениях начальника к подчинённому, офицера к солдату, хозяина к работнику — была проникнута им. Создался целый мир привычек, обычаев, способов мышления, предрассудков и нравственной трусости, выросший на почве несправедливости. Даже лучшие люди того времени платили широкую дань этим нравам крепостного права.

Против них закон был бессилён. Лишь сильное общественное движение, которое нанесло бы удар самому корню зла, могло преобразовать привычки и обычаи повседневной жизни. И в России это движение — борьба за индивидуальность — приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своём отрицании, чем где бы то ни было».

Понимание устремлений нигилистов даёт описание другого современника, впоследствии известного революционера и автора книги «Подпольная Россия» Сергея Степняка-Кравчинского, который следующим образом раскрыл суть охватившего страну движения:

«Настоящий нигилизм, каким его знали в России, был борьбой за освобождение мысли от уз всякого рода традиции, шедшей рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства.

В основе этого движения лежал безусловный индивидуализм. Это было отрицание, во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьёй, религией. Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в её частной, интимной жизни.

Первая битва была дана на почве религии. Победа досталась сразу, так как нет ни одной страны в мире, где бы религия имела так мало корней в среде образованных слоёв общества, как в России. Прошлое поколение держалось с грехом пополам церкви, больше из приличия, чем по убеждению. Но лишь только фаланга молодых писателей, вооружённых данными естественных наук и положительной философии, полных таланта, огня и жажды прозелитизма,

двинулась на приступ, христианство пало, подобно старому, полуразвалившемуся зданию, которое держится только потому, что никому не вздумалось напереть на него плечом.

Но нигилизм объявил войну не только религии, но и всему, что не было основано на чистом и положительном разуме, и это стремление, как нельзя более основательное само по себе, доводилось до абсурда нигилистами 60-х годов. Так, они совершенно отрицали искусство как одно из проявлений идеализма. Здесь отрицатели дошли до геркулесовых столпов, провозгласивши устами одного из своих пророков знаменитое положение, что сапожник выше Рафаэля, так как он делает полезные вещи, тогда как картины Рафаэля решительно ни к чему не годны.

В одном очень важном пункте нигилизм оказал большую услугу России, это — в решении женского вопроса: он, разумеется, признал полную равноправность женщины с мужчиной».

Что характерно, в основном нигилистами становились выходцы из разночинских слоёв, но и отпрысков благородных дворянских семейств там хватало — зачем-то они меняли уютный кров, безбедное существование и перспективы блестящей карьеры на честный собственноручный труд и участие в подпольных революционных организациях. В этом отношении «**шестидесятники**», перешедшие от слов к делам, являли собой резкий контраст с представителями либерально-идеалистической интеллигенции **сороковых годов**. Так отцы перестали понимать детей.

О конфликте поколений и написал в своём новом романе **Иван Тургенев**. Произведение так и называлось — «**Отцы и дети**». Написанное в Париже, оно было напечатано в начале 1862 года в «Русском вестнике», который из умеренно либерального издания деятельно превращался в оплот консерватизма. К осени роман выйдет отдельной книгой.

— Твой отец добрый мальчик, — промолвил Базаров, — но он человек отставной, его песенка спета... Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает. Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

В «Отцах и детях» в образе Евгения Базарова, чьим прототипом, конечно же, был покойный Добролюбов, Тургеневым выведен новый тип людей — пришедших на смену ограниченному либеральному дворянству революционеров-шестидесятников. Старую генерацию интеллигенции воплотил в себе Павел Кирсанов — пробавляющийся либерализмом барин, жизнь которого сводится к воспоминаниям о прошлом. Этим как бы подчёркивается историческая обречённость дворянства как класса, воспитанного в обстановке барских усадеб и аристократических салонов 1830-40-х годов. Ситников и Кукшина — представители «примазавшихся» к модному демократическому движению, поверхностно увлекающихся; они скорее компрометируют его, но «сгодятся», чтобы быть использованными втёмную. Базаров же это тот, к кому тянется народ.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Он нигилист.
— Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признаёт?
— Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович.
— Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий.
— А это не всё равно? — спросил Павел Петрович.
— Нет, не всё равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот принцип.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве.

Евгений — дворянин, хотя и не столбовой: дед его ещё пахал землю, а он, идя по стопам отца, стал студентом медицины. Собственно, в дом его привёл университетский товарищ Аркадий, представив отцу с наилучшими рекомендациями. Подобно тому, как с самого начала не заладились отношения между Тургеневым и Добролюбовым, точно так же с порога не пошёл разговор между Кирсановым и Базаровым. Хозяин даже не счёл нужным подать гостю руки, полагая, что всякий априори должен любить его за ухоженные ногти и накрахмаленные воротнички.

— Позвольте, Павел Петрович, — промолвил Базаров, — вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Впрочем, ни один из героев не выведен писателем в чёрно-белых тонах — каждый сохраняет присущую живому человеку противоречивость. В конце Базаров запутается в чувствах и, так же как Добролюбов, умрёт молодым, а Павел Петрович отчалит доживать за границу — как сам Тургенев. Впрочем, многим показалось, что эти персонажи списаны с Писарева и Каткова, а иные и вовсе увидели в них самих себя.

— Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

«Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса, — признавался автор в письме на родину. — Вглядитесь в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко? Базаров, по-моему, постоянно разбивает П.П., а не наоборот; и если он называется нигилистом, то надо читать: революционером».

Однако, вопреки авторскому замыслу, всё вышло ровно наоборот. Критики из консервативного и либерального лагерей увидели в романе одно сплошное обличение демократической молодёжи, а последователи демократизма не признали в главном герое идеал революционера.

Началось всё с того, что свою лепту внёс Михаил Катков. В стремлении Тургенева быть объективным и беспристрастным он видел «непоследовательность» в развенчании молодого поколения: мол, Базаров вышел недостаточно отрицательным, а потому редактор «Русского вестника» собственноручно подкорректировал отдельные места в рукописи романа, прежде чем отдать её в набор.

Первым на выход новой книги откликнулся нигилистический публицист Дмитрий Писарев, за несколько месяцев до своего ареста успевший написать обширную рецензию, в которой в целом сочувственно отнёсся к образу Базарова.

— Я не нигилист, — предупреждал Писарев, — а просто мыслящий реалист и разумный эгоист. Нужно жить самому и давать жить другим. Относитесь к «базаровщине» как угодно

— это ваше дело, но остановить её — не остановите. Это — та же холера. Правильно было сказано, что природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Вообще в людях есть только одно зло — невежество, а против этого зла есть только одно лекарство — наука. Всякое искусство, если оно не служит научным целям, бессмысленно, а религия — не только бессмысленна, но даже вредна.

Однако другой авторитет революционно-демократической журналистики — журнал «Современник» — с выводами критика «Русского слова» не согласился, заявив, что Базаров — жалкая карикатура на деятелей революции, с чем соглашалось большинство представителей демократического лагеря. Судите сами:

— *Что же вы делаете?* — спрашивал у Базарова дядя его товарища Аркадия.

— *Прежде мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда, а потом мы догадались, что болтать, всё только болтать о наших язвах не стоит труда; мы увидели, что так называемые передовые люди и обличители никуда не годятся...*

— *Так вы во всём этом убедились и решились сами ни за что серьёзно не приниматься?*

— *И решились ни за что не приниматься.*

— *А только ругаться?*

— *И ругаться.*

— *И это называется нигилизмом?*

— *И это называется нигилизмом.*

В общем, тургеневский роман вызвал небывалый общественный резонанс и ожесточённые споры вокруг проблемы нигилизма. Даже те, кто никогда не интересовался литературой, были вынуждены ознакомиться с содержанием нашумевшего произведения.

— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю, но куда ни придёшь, только и разговоров, что об этой книжке, — рассказывал один отставной генерал, — стыдят, уговаривают прочесть... Делать нечего, прочитал... Молодец сочинитель; если встречу где-нибудь, то расцелую его! Молодец! Ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и учёных шлюх! Молодец!.. Придумал же им название — нигилисты! Попросту ведь это значит глист!.. Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его, пусть сочинит ещё книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас!

Если не раскол, то трения в стане революционной демократии Катков, опубликовавший роман, записал себе в актив, а возглавляемый им консервативный лагерь и переметнувшиеся вправо либералы объявили книгу «своей». На этом фоне писатель-эмигрант, которого было приплели к «процессу 32-х», даже сумел оправдаться: он написал царю слёзное письмо, в котором заверял в своей непричастности и преданности престолу, фактически отрёкшись от своего лондонского друга, а его приезд на родину для формального допроса больше запомнился повсеместным чествованием и восхвалением «литературного генерала» благодарными читателями.

Раньше Тургенев являлся чем-то вроде связующего звена между демократами петербургскими и лондонскими. Теперь об этом не могло быть и речи, поскольку на берегах Невы больше склонялись к революционной демократии, а из британской столицы звучали призывы тянуться в сторону демократии либеральной, в то время как Иван Сергеевич остался где-то посередине. И если радикалов его поведение удивило мало (их пути разошлись ещё раньше), то лондонского изгнанника Герцена тургеневское «хождение в Каноссу», в смысле капитуляция перед Зимним дворцом с последующей изменой дружбе, изрядно покорило. В очередном номере

«Колокола» Александр Иванович, не называя товарища по имени, посвятил ему отдельную статью, в которой назвал «седовласой Магдалиной»:

«...всякого рода раскаяния в моде — видно, подходят последние времена. Не только красные раскаиваются, но раскаиваются и синие, и пегие, и совсем бесцветные, раскаиваются во всём — в помыслах и сновидениях, в давнопрошедшем и ещё не наставшем, во всех много-различных грехах, даже в таких, которых за ними никогда не было или которые вовсе невозможны.

Корреспондент наш говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь ещё не знает о постигнувшем её раскаянии, в силу которого она прервала все связи с друзьями юности».

*И тревожась о пощаде,
Сам к царю он написал,
Что он преданности ради
Связи дружбы разорвал,*

— ударил по Тургеневу стихотворным памфлетом Николай Огарёв.

Конечно, все эти расхождения в радикальной среде не могли не радовать доморощенных охранителей. Довершало же их «победу» над демократами, социалистами и прочими нигилистами закрытие «Современника», арест Чернышевского и смерть Добролюбова.

Однако внезапно стали ходить слухи, что журнал Некрасова вскоре появится вновь — и в нём будет напечатан роман саратовского семинариста, замысленный как ответ на «Отцов и детей» и призванный показать настоящий идеал революционера. Это было тем более невероятно, что Николай Гаврилович томился под стражей в одиночной камере Алексеевского рavelина. Долгожданная рукопись была получена в редакции, куда её доставили из Петропавловки, в начале 1863 года. Обрадованный Некрасов тут же поспешил в типографию, находившуюся неподалёку от его дома — на Литейном около Невского. Там располагалась контора Маврикия Осиповича Вольфа, выходца из польских евреев-выкрестов, одного из главных книгоиздателей и торговцев в стране. Но уже через пятнадцать минут Некрасов вернулся обратно весь поникший — от растерянности на нём не было лица.

— Со мной случилось большое несчастье, — взволнованно произнёс Николай Алексеевич, глядя на Панаеву, — я обронил рукопись! Задумался, смотрю: рукописи нет; я велел кучеру повернуть назад, но на мостовой её уже не было, точно она провалилась сквозь землю... Что теперь мне делать?

Оказалось, что свёрток с исписанной бумагой поднял проходивший мимо бедный чиновник. Увидев в газетах объявление, просившее вернуть пропавшие документы за вознаграждение, он не преминул доставить вещь законному владельцу. В итоге **роман Николая Чернышевского «Что делать?»** был благополучно напечатан и произвёл фурор.

Цензура — тюремная, а следом и обычная — пропустила произведение, приняв его за любовный роман. Действительно, с первых страниц читатель увлекается исполненной драматизма и захватывающей интригой, узнавая о загадочном самоубийстве. Однако в центре повествования не покончивший с жизнью мужчина, а «простая девушка» Вера Павловна, которая вырвалась из пошлой атмосферы отчего дома благодаря фиктивному браку со студентом-медиком Лопуховым и обрела настоящее счастье, выйдя за друга своего первого мужа — Кирсанова.

«Например, по чему сейчас можно заметить амурные шашни? По заглядыванию за корсет. Вот Верочка играет, Дмитрий Сергееч стоит и

слушает, а Марья Алексевна смотрит, не запускает ли он глаз за корсет, — нет, и не думает запускать!»

Видимо, замысловатый сюжет усыпил бдительность строгого начальства, которое не усмотрело в сочинении политзаклужённого посягательств на основы существовавшего строя, однако уже после выхода первых частей романа власти спохватились и запретили печать последующих глав. Книга оказалась под запретом, но ведь известно, что запретный плод — сладок, а потому она разошлась в рукописных версиях, перевернув сознание тысяч молодых людей. Произведение стало «священным писанием» революционеров, их знаменем и программой, фактически дав ответ на вопрос, вынесенный в заголовок. Что точно — роман воспитал несколько поколений непримиримых борцов с самодержавием.

Марья Алексевна, мать Верочки, олицетворяет в романе дурных (но не дрянных) людей, испорченных социальными условиями, в которых ты либо плут, либо дурак, а третьего — не дано. В свою очередь Верочка, Лопухов и Кирсанов — «порядочные люди нового поколения», которые, оказавшись на свободе, удивляются, как они могли «дышать в этом подвале». Однако главные герои книги вовсе не «новые люди», а кажущийся второстепенным персонажем «особенный человек» — студент филфака Рахметов, из дворян, воплощающий в себе идеал революционера. В некотором роде он — сверхчеловек. Аскет, нестяжатель и проповедник, готовый претерпеть за «веру». Но почему же протагонист обозначен пунктиром? Затем, чтобы дополнительно подчеркнуть его привычку к конспирации — не зря он даже в книге появляется наплывами, возникая из ниоткуда и также незаметно исчезая. Подводит черту под действием романа «четвёртый сон Веры Павловны», в котором ей грезится мечта о социалистическом будущем, лёгком и прочном, как алюминий, и светлом, как электрическая лампа. Символ его — **хрустальный дворец**, лондонская диковинка из стекла и стали, построенная англичанами к одной из всемирных выставок за десять лет до написания книги.

По сути автор почти прямым текстом говорит, что по мере того, как появляется всё больше порядочных людей, приближается начало социалистического общества. То, что Добролюбов, говоря о пьесах Островского, назвал «лучом света в тёмном царстве», Чернышевский определил формулой «вырваться из подвала».

Рахметов стал кумиром молодёжи. Подражая персонажам книги, молодые люди бросились организовываться в коммуны, фаланстеры и артели, заводить ателье и мастерские.

Даже шутили, что Герцен и Чернышевский поставили два главных вопроса русской литературы — кто виноват и что делать? Ответ зависит от вашего местоположения в системе общественных координат. Если вы на стороне правительства, то всё предельно ясно: виноваты — нигилисты, а делать — пытаться реформировать отсталое общество, не затронув основ самодержавного строя. Рецепт революционеров был иной: во всём виновата царская власть, зажавшиеся помещики и мракобесные попы, столько лет сдерживавшие развитие страны, а значит не остаётся ничего, как заменить унитарную монархию на федеративную республику с выборным демократическим правлением и полным набором гражданских свобод.

Науки юношей питают (об идейных предпосылках нигилизма, или к чему приводит чтение книг). Прав был Достоевский, когда говорил, вспоминая о петербургских беспорядках, что «пожар в умах, а не на крышах домов». Однако мировоззрение подрастающего поколения формировалось не только под влиянием литературных трудов, но и активно развивавшейся наукой.

Сначала люди объясняли природу через бога — на основе **теологии**, которая прошла через стадии фетишизма (обоготворения предметов), языческого политеизма (многобожия) и авраамического монотезима (верящего в единого творца-создателя). Потом фундаментом человеческих представлений об окружающем мире стала **философия**, которая главным образом строилась вокруг не поддающихся экспериментальной проверке умозаключений, хотя с появлением эмпиризма стала всё больше отходить от схоластики. К девятнадцатому веку чело-

вечество стало черпать знания исключительно посредством **науки**, которая разделилась на множество областей и полностью обособилась от философии, а на роль «философии науки» выдвинулся **позитивизм**, у истоков которого стоял французский мыслитель **Огюст Конт**. Позитивисты исходили из того, что единственным источником знания является опыт, данный нам в чувствах: всё, что мы можем потрогать, пронаблюдать или измерить. Нет никаких кантовских «априорных» знаний. Спор, конечно, давнишний, тянущийся с античности. Платон утверждал, что окружающие нас предметы — всего лишь «блеклые отражения» неких «совершенных» идей, подобно теням на стенах пещеры, то есть был фактически первым идеалистом, а его ученик Аристотель настаивал на примате материальных начал. С этой точки зрения позитивизм, читай — эмпирика, был противопоставлен **«метафизике»**, под которой понималась философия вообще с её ненаблюдаемыми или непроверяемыми суждениями. Религия и вовсе отбрасывалась как отживший себя рудимент — будучи формой фантастического мировоззрения, появившейся в те времена, когда человек не мог объяснить явления окружающей его действительности иначе, чем полагаясь на веру в сверхъестественную и непостижимую силу, влияющую на судьбу простых смертных. Не бог сотворил человека, а человек — бога, по своему образу и подобию, заметил контовский современник, немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах.

«Царица наук» — математика. Так уж получилось, что абстрактные числа, вернее — манипуляции с ними, осуществляемые на основе логических законов, помогают буквально просчитывать устройство нашего мира (всё есть число, провозглашал ещё Пифагор). Математика составляет «язык» физики, которая, в свою очередь, является базовой наукой для объяснения природных явлений вообще. Следующая ступенька — химия, а за ней, по мере усложнения организации материи (атом — молекула — клетка), — биология. Здесь проходит грань между точными науками и гуманитарными дисциплинами. Когда от одного человека мы переходим к группе людей, то вступаем на почву социологии, истории и экономики. Вот такая **«лестница наук»**, изначально предложенная основоположником позитивизма.

Труды французского философа относятся к эпохе сороковых годов, но широкое распространение получили в шестидесятых. Тогда же, отталкиваясь от контовского наследия, британский учитель, инженер и журналист **Герберт Спенсер** пошёл дальше и заявил, что «конечная действительность», то есть та, что лежит вне данного нам сейчас чувственного опыта и выходит за пределы научных исследований, — непознаваема. На чём и играет религия, объявляя себя «высшей формой познания».

А как вообще обретается знание? Есть два пути — логико-дедуктивный и опытно-индуктивный. Дедукция пляшет от уже установленного общего правила, подгоняя под него частные выводы. В случае индукции отправная точка — проведение наблюдения, эксперимента, измерения или описания. Главное — установить причинно-следственные связи между предметами или явлениями, выявить общие признаки и отбросить второстепенные. Впрочем, эксперимент может быть и мысленным. В любом случае на основе полученных данных выдвигается **гипотеза** — предположение, объясняющее то, как устроен тот или иной процесс. Доказанная гипотеза становится **теорией**. Не всякая теория может быть подтверждена опытным путём, но любая должна обладать **предсказательной силой**. Раньше теории называли законами, что не совсем верно, поскольку **закон**, в отличие от **правила**, не имеет исключений и претендует на универсальность и незыблемость, грозя превратиться в нечто вроде **догмата**, а догматизм — это уже область религиозной мистики, которая оперирует понятием «веры». По мере накопления знаний человечество расширяет горизонты дальнейшего познания и, как ни парадоксально, ещё больше расширяет область непознанного, но всё это ведёт к уточнению или пересмотру старых научных концепций — в отличие от той же религии. В общем, **знание** — понятие зыбкое и относительное, а **вера** — абсолютна и не требует доказательств: на то она и вера.

Вообще же обычно бывает так: новые открытия объясняются с позиций принятой теории, но по мере накопления выбивающихся из неё «аномалий» в науке наступает кризис, появляются альтернативные научные школы и происходит борьба конкурирующих теорий, пока в результате научной революции не сформируется новая парадигма, или картина мира, что и происходило в середине девятнадцатого века.

В 1859 году свет увидело сочинение английского натуралиста **Чарльза Дарвина «О происхождении видов»**. Итог многолетних исследований, оно утверждало, что человек и обезьяна произошли от общего предка в результате **эволюции, борьбы за существование и естественного отбора**. Делая уступки церкви, учёный допускал, что первые на планете организмы, возможно, и являлись творением Создателя или созданием Творца, но впоследствии жизнь развивалась без вмешательства Всевышнего, руководствуясь тем законом, что в природе выживает сильнейший, вернее, наиболее приспособленный к данным условиям окружающей среды вид. Впоследствии теория эволюции найдёт подтверждение и будет дополнена за счёт данных генетики, но тогда «поверили» в неё далеко не все. Эффект, произведённый сенсационным научным открытием, был сопоставим разве что с последствиями коперниковской революции, когда наша планета вдруг «перестала» быть центром вселенной. Разумеется, учение Дарвина наносило удар по креационизму и идеализму вообще и тут же легло в основу материалистического понимания мира. Впрочем, последнее подкреплялось успехами науки и техники в целом — развитием железных дорог, телеграфа, электрического освещения.

— Вы слышали? Какой-то англичанин, что когда-то совершил кругосветку на пароходе «Бигль», возмнил, что человек произошёл от обезьяны, а вслед за ним это повторяют, как попугаи, и наши молокососы. Они забывают, чему учит Священное Писание. Человек создан по образу и подобию Божьему!

— Популяризация сочинений Дарвина, несомненно, направлена против истин христианской веры, учения и достоинства православной церкви, семейных устоев и общественной нравственности в целом, — отзывались чиновники, призванные следить за состоянием общественных умов.

Писатель и поэт Алексей Константинович Толстой — троюродный брат Льва Толстого, друг детства Александра II и один из участников литературной маски «Козьма Прутков» — одёргивал цензуру, обращаясь непосредственно к председателю главного управления по делам печати (так теперь именовалась должность главного цензора страны) Михаилу Лонгвинову:

*Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати —
Знать не может председатель
Комитета о печати.
Ограничивать так смело
Всесторонность Божьей власти —
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!
С Ломоносовым наука
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток,
Льёт на мир потоки света
И, следя, как в тьме лазурной
Ходят Божьи планеты
Без инструкции ценсурной.
...Полно, Миша! Ты не сетуй!*

*Без хвоста твоя ведь жопа,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.*

Александр Иванович Герцен, внёсший свой вклад в разработку отечественных начал материалистической философии ещё в эпоху 40-х годов («Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы»), тоже защищал занятия естествознанием от всевозможных нападок со стороны идеалистов и церковников.

— Наука не есть учение или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. И чего же бояться? Шума колёс, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб, — вопрошал ветеран революционного движения, в молодости отучившийся на астронома.

Однако, как ни тужились власти воспрепятствовать распространению научных истин, подрывавших религиозный базис официально дозволенного мировоззрения, спохватились слишком поздно, когда поезд давно ушёл. Россия, по выражению **Климента Тимирязева**, в будущем выдающегося русского биолога и открывателя явления фотосинтеза, а тогда — участника студенческих волнений, отчисленного из университета, стала «второй родиной дарвинизма».

*И дух естественных наук
(Властей ввергающий в испуг)
Здесь был религии подобен,*

— напишет чуть позже поэт Александр Блок. За естественно-научную теорию, утверждавшую, что всё развивается в прогрессивном направлении, ухватились не только учёные, но и адепты революционной демократии, примеряя её к законам общественного развития.

Дополнительный удар по мраку религиозной мистики, окружавшей бытовые представления о происхождении человека и его внутреннем — душевном — устройстве, нанёс молодой профессор-физиолог, преподаватель Медико-хирургической академии **Иван Сеченов**. Подавшийся в науку дворянин, который понабрался вольнодумных идей в гейдельбергских аудиториях и экспериментировал на лягушках, стал утверждать, что в основе психических процессов лежат сугубо физиологические явления, а высшая нервная деятельность человека детерминируется не порывами души или снисходящей на неё божьей благодатью, а возбуждением и торможением мозговых центров. Изложенные доступным языком, результаты исследования «**О рефлексах головного мозга**» должны были внести вклад в ширившуюся политическую проповедь, ставившую философию на материалистические рельсы, однако отпечатанный тираж книги подвергся аресту, а само сочинение пополнило список запретных произведений, хотя и успело выйти в малоизвестной отраслевой газете (1864) — вместо закрытого властями некрасовского журнала.

— Эта материалистическая книга отвергла свободную волю и бессмертие души, не согласна ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведёт положительно к развращению нравов, — дала своё заключение цензура.

Автора хотели даже отдать под суд, но передумали, дабы не привлекать лишнего внимания к опасному труду. А ведь ещё тургеневский нигилист говорил:

*«И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной?
Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию*

глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это всё романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдём лучше смотреть жука».

Список выдающихся достижений отечественной науки, способствовавших укоренению материалистических взглядов, дополняло открытие **Дмитрия Менделеева**. Русский химик из бедной тобольской семьи (дед был священником, отец — школьным учителем, но после смерти кормильца многодетную семью на себе тащила мать, сама вышедшая из сибирского купечества), он чем-то напоминал Ломоносова. Тоже человек широких интересов и энциклопедических знаний, тоже пришёл в Москву из далёкой, сурово-холодной глубинки, только не пешком с обозом, а верхом на лошадях. Правда, в тамошний университет его не взяли, зато приняли в петербургский, с кафедры которого он впоследствии и преподавал. В 1869 году молодой профессор установил **«периодический закон»**, утверждающий, что свойства химических элементов (на тот момент их было известно порядка 60) зависят от их атомной массы. Открытие учёного, приподнявшее ещё одну завесу над фундаментальными началами мироздания, было простым и элегантным, как всё гениальное. Оно позволяло не только систематизировать химическую классификацию в виде изящной таблицы, но и открывать на её основе ещё не известные науке элементы, заранее — и с поразительной точностью — предсказывая их свойства, а также вплотную подводило к проблеме строения атома. Этим менделеевские изыскания отличались от аналогичных наработок западноевропейской научной мысли.

Сначала питерскому профессору не поверили. Вернее, не придали его труду никакого значения, а когда тот начал поправлять зарубежных коллег, что, дескать, их измерения и расчёты не верны, — те и вовсе стали крутить пальцем у виска. Однако спустя несколько лет все предсказания Дмитрия Ивановича подтвердились. Совершённое «на кончике пера», без экспериментальной базы, на основе одного лишь мысленного рассуждения, открытие дало повод для предположения, что Менделееву его таблица явилась во сне.

— Как вам пришла в голову, Дмитрий Иванович, ваша периодическая система? — то и дело донимали его журналисты.

— Да ведь не так, как у вас, батенька! Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы полагаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку, и готово! Не так-с!..

Тем не менее миф укоренился в массовом сознании, как и распространившееся заблуждение о том, что Менделееву, в молодости «химичившему» с растворами, принадлежит изобретение классической формулы сорокаградусного водочного стандарта: 40 частей чистого спирта на 60 частей воды. Правда заключалась в ином: обширные научные интересы профессора выходили далеко за пределы химии и охватывали также физику, минералогию, метеорологию и воздухоплавание, экономику и педагогику; он внёс вклад в развитие нефтяной промышленности, ледокольного судостроения и создание бездымного пороха.

Своим трудом Дмитрий Иванович доказал, что, как завещал ещё Ломоносов, «может собственных Невтонов и быстрых разумом Платонов российская земля рождать», однако, свистелствовал современник, «Менделеев был при жизни очень ценим только за границей; там он считался великим учёным, у нас же наоборот он почти игнорировался». Действительно, несмотря на исключительные заслуги не только перед отечественной, но и мировой наукой, автор периодического закона, избранный почётным членом нескольких десятков зарубежных академий, у себя на родине академиком так и не стал. Доморощенные руководители от науки мудро рассудили, что у профессора «слишком мало публикаций по химии», и удостоили только статуса членкора. Возможно, не последнюю роль тут сыграл характер великого сибиряка — недостаточно покорный и слишком независимый, что можно было простить дворянину, но не выходцу из крестьян. И хотя на рожон он никогда лез, не бросался, как тот же Ломоносов, с кулаками на господ академиков, но акценты не всегда расставлял верно. Так, человек верующий, он тем не менее говорил, когда его упрекали в попрании религиозных устоев:

— Не трогать веру нельзя. Она — основа религии, а любая религия в наши дни — грубое и примитивное суеверие, на знании не основанное. Наука борется с суевериями, как свет с потёмками...

В середине 19-го века наука всё чаще стала оскорблять чувства верующих. К примеру, высказанная Сеченовым мысль о том, что «свободная воля человека» на деле не более, чем цепь нервных рефлексов, глубоко поразила Достоевского, который был убеждён, что люди сами определяют свою судьбу и наполняют жизнь смыслом. Сеченовское открытие сподвигло его на написание повести «**Записки из подполья**» (1864). Она станет отправной точкой для всего дальнейшего — «зрелого» — творчества литератора, до этого писавшего о «маленьком человеке» и всяких прочих «униженных и обиженных». Теперь же, ступив на религиозно-философскую стезю, он с неё уже не слезет и даже станет предтечей **экзистенциализма** — философской школы, верящей в свободную волю человека. Исходя из этих установок, герой повести — «подпольный человек» — отрицает прогресс, «разумный эгоизм» и потешается над «хрустальными дворцами» светлого будущего.

«Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет! — прерываете вы с хохотом. — Наука даже о сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как... Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений, то есть настоящую математическую формулу, — так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да ещё, пожалуй, и наверно перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке?»

...Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть ещё законы природы; так что всё, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или ещё лучшие того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых всё будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. Тогда-то, — это всё вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец.

...Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица. И почему вы так твёрдо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, — одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется».

Логика немного топорная, отдающая гаерством — площадным шутовством на потеху неприязнительной публике, глумлением, ёрничеством и паясничаем. Мол, вот мы какие — нас создал бог по своему образу и подобию, мы люди свободной воли и отвечаем за свои поступки, а они — мало того, что произошли от обезьяны, так ещё и управляются какими-то там рефлексами. Доведение до абсурда — приём, известный с древности, к которому Фёдор Михайлович охотно прибегал, изображая своих антигероев (отрицательный персонаж у Достоевского — чёрно-белая карикатура, здесь он был «последовательнее» того же Тургенева, стремившегося к большей объективности со всеми её противоречиями).

Конечно, человек — не машина, механически реагирующая на внешние раздражители согласно предустановленной программе, напротив, он обладает волевыми качествами, по мере развития которых в большей или меньшей степени может контролировать своё поведение, однако факт, что многие решения, которые, как нам кажется, принимаем мы сами, по собственному «хотению», в реальности диктуются процессами, скрытыми на уровне подсознания. В общем, желания, поступки и поведение человека в известных пределах поддаются внешней манипуляции.

Точно так же противоположная сторона, с которой дискутировал Достоевский, увлекаясь позитивизмом, бросалась в другую крайность и упрощала науку, сводила её до обобщения эмпирических данных, результатов наблюдений, опытов и экспериментов. Всё, что нельзя пощупать или увидеть, отбраковывалось как метафизическая химера, не имеющая к науке никакого отношения: мало ли что там философы себе могут нафантазировать. Брать на вооружение такую «позитивистскую редукцию» тоже не совсем верно, потому что мир настолько сложен, что у нас попросту не всегда имеются соответствующие инструменты наблюдений и измерений. На одном препарировании лягушек тут не выедешь.

ГЛАВА 6. Польша. Апогей нестабильности (1863)

*О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Александр Пушкин*

Революционный порыв, охвативший страну в 1861 году после опубликования манифеста 19 февраля, продолжился и в 1862-м. Разочарование мыслящей (и нетерпеливой: прошёл-то всего год) публики от того, что долгожданная реформа не принесла ожидаемых перемен, отразил в своих виршах, опубликованных в юмористическом журнале «Гудок», поэт-сатирик Дмитрий Минаев — в них он пытается найти ответ на вопрос (его задуют японские дипломаты, посетившие нашу страну под занавес большого европейского турне), что же изменилось в целом за годы «оттепели» и «гласности»:

*В сёла заходят. Вросли
В землю, согнувшись, избёнки;
Чахлое стадо пасли
Дети в одной рубашонке;
Крытый соломой навес...
Голос рыдающий где-то...
«Это ли русский прогресс?»
— «Это, родимые, это!..»
Город пред ними. В умах
Мысль, как и в сёлах, дремала,
Шепчут о чем-то впотьмах
Два-три усталых журнала.
Ласки продажных метресс...
Грозные цифры бюджета...
«Это ли русский прогресс?»
— «Это, родимые, это!..»
Труд от зари до зари,
Бедность — что дальше, то хуже.
Голод, лохмотья — внутри,
Блеск и довольство — снаружи...
Шалости старых повес,
Тающих в креслах балета...
«Это ли русский прогресс?»
— «Это, родимые, это!..»*

Однако уже к концу 1862 года антиправительственные выступления в целом были сведены на нет. Царским сановникам удалось добиться прекращения крестьянских волнений, студенческих манифестаций и распространения «подмётных писем». Пропагандисты были посажены в тюрьмы, подзуживаемая ими учащаяся молодёжь нехотя вернулась в аудитории, хотя и продолжала держать фигу в кармане, а крестьянство принялось делить землю с помещиками. По крайней мере, так могло показаться со стороны. Оно и понятно — от чиновников требо-

валось создать хотя бы видимость атмосферы, подобающей большому историческому празднику: приближались торжества по случаю тысячелетия российской государственности, истоки которой принято отсчитывать с призвания варягов. В сентябре 62-го государь лично прибыл в Великий Новгород, где в торжественной обстановке предстояло открыть **памятник тысячелетию России**.

Новгород с его вече — в общем-то колыбель российской государственности. Однако первая полноправная столица — великокняжеский Киев. Впоследствии «мать городов русских» пришла в упадок и потеряла былое значение; на первые роли выдвинулся укрытый за северо-восточными лесами, в Волго-Окском междуречье, Владимир, у которого статус стольного града затем отобрала царская Москва, не только собравшая вокруг себя осколки русской земли, но и превратившаяся в «третий Рим», после чего Русь станет Россией, а её политическим центром — имперский Петербург.

Многотонный бронзовый монумент, установленный на территории новгородского кремля, был выполнен по проекту Михаила Микешина — вчерашнего выпускника Академии художеств. Проект, победивший в конкурсе, стал его первой работой, принёсшей славу доселе неизвестному художнику.

Памятник представляет собой царскую державу, водружённую на постамент и обрамлённую тремя ярусами, на которых расположились фигуры выдающихся деятелей отечественной истории.

Верхний ярус — это ангел с крестом, парящий над коленопреклонённой женщиной в русских одеждах. Женщина — сама Россия, а ангел — аллегория божественного промысла, ведущего страну сквозь исторические времена.

Средний ярус — массивные скульптуры русских правителей и узловые моменты истории, ориентированные по сторонам света. На **юг**, к Киеву, смотрят Рюрик, призванный с варягами в 862 году, и Владимир, крестивший Русь в 988-м. На **юго-восток**, обращённый лицом к татарской угрозе, стоит Дмитрий Донской, который в 1380 году положил начало борьбе с ордынским игом. На **восток**, к Москве, смотрит Иван III, первым из князей ставший «все-российским государем». Это он объединил русские княжества вокруг Москвы, окончательно освободил страну от монгольской зависимости (1480) и построил главный храм государства — Успенский собор. Москва стала новым центром православной веры, Русь — Россией, а её гербом — греческий двуглавый орёл. На памятнике у ног хозяина престола — поверженный татарский мурза, литовский воин и шведский рыцарь. Угрозу с **запада**, со стороны Польши, встречают Минин и Пожарский, благодаря которым в 1613 году положен конец смуте и избран на царство Михаил Романов. Наконец, на **север**, к балтийским берегам, где раскинется новая столица, повёрнут взор Петра I, основателя империи.

Нижний ярус — горельефный фриз с изображениями примирено сотни деятелей, разбитых на четыре группы: святые, начиная от Кирилла и Мефодия; государственные мужи — без Ивана Грозного, но с его женой Анастасией Романовой; герои ратных дел от Святослава до Нахимова; а также люди науки и искусства от Ломоносова до Пушкина.

— Поздравляю вас, господа, с тысячелетием России, — произнёс государь перед собравшимися на площади у Софийского собора. — Рад, что праздную его в древнем Новгороде, колыбели царства всероссийского. Пусть этот день ознаменует неразрывную связь всех сословий земли русской с правительством, — сказал царь и, полагая, что за тысячу лет своего существования вверенная ему держава уже достигла величия, поднял бокал за её благоденствие, которого пока явно не доставало.

О том, что в стране не всё благополучно, свидетельствовала череда пожаров, пронёсшихся по Новгороду накануне приезда туда императора. Конечно, инцидент своевременно замяли, но если потушить огонь на крышах всё же являлось задачей посильной, то остановить идейный «пожар в умах» уже не представлялось возможным. Особое беспокойство вызывал

февраль 1863 года, положенный окончательным сроком для урегулирования отношений между помещиками и крестьянами, в связи с чем не исключалась возможность оживления протестной деятельности в городе и деревне.

— С освобождением крестьян от помещичьего ига далеко не уедешь, — предупреждал Иосафат Огрызко, соратник Чернышевского, в котором соединялись вице-директор департамента в министерстве финансов и деятель польского революционного подполья. — Нужно для России освобождение образованного люда от гнёта деспотизма. И если правительство не возьмёт на себя инициативу, начнётся подпольная работа всех элементов, забитых, униженных и недовольных, против правительства — и неизбежно путём революционным. Пока ещё есть время, чтобы добиться этого спокойным путём.

— Да где вы берёте все эти революционные элементы? — вопрошал его князь Владимир Мещерский, внук Карамзина, недавно окончивший Училище правоведения и поступивший на службу в министерство внутренних дел чиновником особых поручений: глава ведомства Пётр Валуев был женат на дочери Вяземского, а Вяземские и Карамзины — родственники. Сейчас он искал подступы к «молодому двору» — пытался втереться в ближайшее окружение наследника престола Николая Александровича. Однако охватившей общество любви к либерализму ни малость не испытывал. — Я, признаться, не вижу никаких революционных элементов!

— Ими кишат все канцелярии и департаменты, все наши университеты. Они везде и только слепые их не видят, — прямо признавался поляк.

Мещерский, зная о его участии в деятельности польского подполья, которую чиновник осуществлял практически не таясь, недоуменно спрашивал у шефа жандармов Василия Долгорукова, но генерал лишь разводил руками:

— Мы знаем больше вас про Огрицко, но что прикажете нам делать, когда министр финансов его берёт в свои вице-директора.

Сам Огрызко отвечал так:

— Это доказывает только, что не надо быть *plus royaliste que le roi* — большим роялистом, чем сам король. Умерьте своё верноподданническое рвение!

А Пётр Валуев, непосредственный шеф Мещерского, не раскрывая всех карт, уклончиво обобщал:

— Наука жизни в том, чтобы никогда не забывать непрочности факта и вечности принципа. Кто знает, может эта система не хуже другой: чтобы Огрицки были скорее на виду, чем спрятаны.

Второе Польское восстание (1863—64). Предыстория. Надежды русских революционеров на народное восстание были связаны с выступлением польских патриотов, которые никогда не оставляли мысли о восстановлении собственной государственности, а с начавшимся после отмены крепостного права брожением вновь активизировали свои сепаратистские устремления.

«Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России», — провозглашал Александр Герцен: ещё старое поколение мятежников, николаевских 30-х, определяло эту мысль формулой «за нашу и вашу свободу». Лондонский эмигрант поддерживал требования вольности для поляков и на пару с петербургским идеологом «землевольцев», Николаем Чернышевским, издали направлял деятельность тайного общества — **«Комитета русских офицеров в Польше»**, члены которого сначала были слушателями в Академии Генштаба, а затем в основной своей массе перешли на службу в польских частях царской армии. «Кружок генштабистов» возглавлял **Сигизмунд Сераковский**, дружный с Чернышевским. Он так и остался в Петербурге, но в Варшаву вернулись его ближайшие соратники — поручик **Василий Каплинский** и штабс-капитан **Ярослав Домбровский**. Эти молодые офицеры и выступили непосредственными создателями польского «комитета». В его деятельности активное участие принимал также **Андрей Потебня**,

земледелец и бывший подпоручик. В отличие от старой генерации революционеров польские демократы — их называли партией «красных» — ставили вопрос не только о государственной независимости, но и о демократическом, по сути, социалистическом, общественном строе, а путём достижения своих целей видели вооружённое национальное восстание, что весьма пугало польскую земледельческую знать, входившую в партию «белых».

Если под знамёнами «**красных**» объединялись польские разночинцы — в основном образованные горожане, студенты и разного рода профессура, то «**белая**» оппозиция состояла в первую очередь из крупных помещиков и родовой аристократии, а также польской эмиграции. Их абсолютным вожаком выступал граф **Анджей Замоиский**, возглавлявший созданное им же «**Земледельческое общество**», которое не довольствовалось ролью обычной общественной организации и по сути представляло из себя подобие парламента. По матери Замоиский был племянником Адама Чарторыйского, сын которого, князь **Владислав Чарторыйский**, был хозяином парижского особняка «**Отель Ламбер**» — давнего центра польской эмиграции. Для этих консервативных деятелей союз богатой знати с простонародным отребьем был немыслим. На данном этапе их вполне бы устроило простое возвращение польской автономии и конституции, некогда дарованной дядей нынешнего царя и отнятой его отцом тридцатью годами ранее. Самое главное — не трогать их земельную собственность, на которую с завистью поглядывало польское крестьянство. Если красные полагались на связи с русскими революционерами и поднятие национального — читай, крестьянского — восстания, то белые инструментом достижения своих целей видели организацию политико-дипломатического давления на российское правительство со стороны западных столиц и, опасаясь вовлечения в борьбу широких народных масс, грозившего какой-нибудь «пугачёвщиной», они были готовы к компромиссам с царской властью, тем более что последняя демонстрировала непоколебимый настрой на либеральные реформы.

Александр — не только император всероссийский, но и царь польский — свою политику в отношении Варшавы начал с **помилования** участников восстания далёкого 1830 года. Тогда местные шляхтичи, имевшие, в отличие от ляхов прусских или австрийских, собственную конституцию, администрацию, войско и денежную систему, а с русскими их соединяла только личная уния царя, подняли вооружённый мятеж, в результате которого только лишились своей широкой автономии и стали имперской окраиной.

— *C'est un triste héritage qui m'a été légué par mon oncle, mais je ne m'en desisterai jamais*, — то и дело приходилось слышать от императора Александра Николаевича, когда речь заходила о Польше: «печальное наследство оставлено мне моим дядей, но я не откажусь от него никогда».

Однако с новым царствованием был взят курс на **постепенное возвращение** местному населению **прав и свобод**. Для начала выпустили из тюрем всех «политических», открыли университет, разрешили обучение на польской мове и сняли запрет на стихи Адама Мицкевича.

С подачи великого князя Константина Николаевича у руля польской администрации был поставлен маркиз **Александр Велёпольский**, один из богатейших представителей земледельческой аристократии, выступавший за сотрудничество с царской властью.

— Я считал и считаю, что всегда нужно что-то делать для Польши, проблема в том, что с поляками для Польши ничего сделать нельзя, — говорил маркиз, консерватор по убеждениям, но реалист на практике.

Велёпольский начал с того, что нанёс удар по польским помещикам. Первыми его действиями была замена барщины оброком и роспуск общества земледельцев. Следом маркиз делает польский язык официальным, ставит чиновниками поляков и фактически добивается восстановления польской автономии. По крайней мере, Царство Польское теперь управляется не одним из отделов Сената в Петербурге, а напрямую из Варшавы. Когда же его слишком либеральный курс встречал несогласие со стороны царского наместника, глава варшав-

ской администрации предлагал царю на выбор: принять его отставку или отозвать наместника. К слову, за короткий срок — буквально год — дворец Бельведер, служивший резиденцией царских наместников, сменил трёх хозяев: для престарелого князя Михаила Горчакова он стал последним пристанищем, генерал Николай Сухожанет, бывший военный министр, не прижился, потому что правил слишком строго, а сменивший его граф Карл Ламберт, наоборот, был удалён императором за чрезмерную мягкость.

Как видно, ни один из предложенных методов управления не мог удовлетворить местную публику, с каждым разом подвергавшуюся всё большему брожению. Объяснялось это тем, что программа петербургских либералов срывала возможность национального восстания, поэтому «красные» стремились если не физически устранить реформаторов от власти, то хотя бы помешать дальнейшим преобразованиям, дабы не лишать себя социальной базы. По принципу «чем хуже, тем лучше». На какие бы уступки ни шло русское правительство, нужно было провоцировать его на репрессии и применение силы, что, в свою очередь, оправдало бы готовившееся революционерами вооружённое выступление. Даже если мятеж провалится и будет потоплен в крови, говорили они, то поляки навсегда рассорятся с русскими.

Началось всё с **манифестаций**, быстро переросших в массовые и регулярные беспорядки. Выделяются две акции — в июле и октябре 1860 года. Тогда казаки поспешили разогнать возмутителей спокойствия нагайками, а кое-где даже открыли огонь по безоружной толпе. Похороны нескольких погибших плавно перетекли в национальный траур, главным образом, по отчизне, и «**кампанию против развлечений**». В особняках, где давались вечера и балы, выбивали окна, празднично одетым дамам резали платья, а русскому населению без всякого повода рассылались анонимные угрозы. Результатом явилось введение на польских территориях военного положения и единовременный арест двух тысяч радикалов, что не поколебало ни курса властей на проведение реформ, ни намерения оппозиции дестабилизировать обстановку, с целью чего противники царизма решили перейти от акций гражданского неповиновения к актам **политического терроризма**.

Первой мишенью заговорщиков стал варшавский наместник царя, генерал Александр фон Лидерс, лишь по счастливой случайности отделавшийся тяжёлым ранением.

— Только трус стреляет в спину, — прохрипел истекающий кровью царский чиновник вслед убегающему стрелку. Им оказался Андрей Потебня, мстивший за арест Ярослава Домбровского.

Сменивший Лидерса великий князь **Константин Николаевич**, едва прибыв в Варшаву, также пережил покушение, чудом избежав гибели. Пуля застряла в эполете. Дважды стреляли и в главу местного правительства маркиза Александра Велёпольского.

Назначение на пост наместника брата императора, человека, известного своим либерализмом и, по своему положению, отвечавшего только перед государем, означало, что Петербург намерен продолжать реформы несмотря на беспорядки и даже террор, которые великодушно списывали на происки мелкой группы отщепенцев.

— Призываю сплотиться вокруг реформ, а не террористов, — говорил во всеуслышание вновь назначенный царский наместник, вынудив на рукопожатие недовольного Замойского, а другой рукой сжимая кисть Велёпольского.

Однако вождь белой оппозиции, своими последователями возведённый в «представителя и истолкователя духа всей польской нации», был непреклонен. Он не мог простить роспуска «штаба» белой оппозиции, которая теперь тоже стала воспринимать в штыки программу реформ — как недостаточную.

— Мы как поляки только тогда будем в состоянии поддерживать правительство нашим доверием, когда оно будет наше, польское, и когда будут соединены все области, составляющие наше отечество. Нельзя любить родину по частям, — намекал гордый шляхтич на то, что власть самостийной Варшавы должна простираться до Минска и Киева.

Восстановление государства **в границах 1772 года** — идея-фикс любого уважающего себя пана. Однако то, что по существу представляло собой программу-максимум, польским аристократом, в своих политических устремлениях всё больше отрывавшимся от реальности, выворачивалось наизнанку и подавалось как единственно возможное условие для дальнейшего разговора. Впрочем, польского государства «**от можа до можа**», союза поляков, литовцев и русинов, не желали не только украинские и белорусские крестьяне, но также и прусские и австрийские верхи.

Когда в екатерининские времена по предложению немецких соседей Польша была разделена между тремя просвещёнными монархиями, её южная часть отошла австрийцам. **Австрийская Галиция** (фактически, прикарпатский треугольник Львов — Тернополь — Ивано-Франковск) — отсталая аграрная провинция, к которой позже был добавлен **вольный город Краков** — старая столица Речи Посполитой и второй по значимости город Польши. Запад и север забрали себе пруссаки. **Прусская Польша**, или Силезия — это, главным образом, Данциг-Гданьск, Бреслау-Вроцлав и Познань, представлявшие из себя процветающие в экономическом отношении промышленно развитые центры. Православный восток — с **Минском и Киевом** — тогда достался российским царям. Центральная часть страны — то, что вокруг **Лодзи и Варшавы**, вообще-то сначала тоже принадлежало немцам, но сначала было отнято Наполеоном, а затем решением Венского конгресса, благодаря гениальным изворотам александровской дипломатии, перешло под российский суверенитет. Очевидно, на правах победителя. Берлин взамен получил саксонские земли, а международное сообщество — гарантии Петербурга, что под романовским скипетром русская Польша будет пользоваться достаточными политическими свободами, каковые и были даны императором Александром I, взяты назад царём Николаем и теперь постепенно даровались обратно Александром II. В своём экономическом развитии Царство Польское, конечно, не дотягивало до «Южной Пруссии», но в масштабах империи входило в число самых преуспевающих регионов, сочетая в себе как бурно развивающуюся промышленность (в основном текстильную), так и прибыльное сельское хозяйство. К слову, Лодзь — почти географический центр современной Польши, на «горизонтальной оси» лежащий между Вроцлавом и Варшавой, а «по вертикали» — между Гданьском и Краковом. Удачное географическое положение позволяло сбывать товары польской текстильной индустрии на российский рынок, в то время как местная зерновая продукция пользовалась спросом на рынках европейских. В общем, даже после всех пертурбаций жаловаться на свою долю могли только польские крестьяне, нещадно эксплуатировавшиеся местными помещиками. Самое же главное, что уйдя из Варшавы русские войска, на их место тут же пришли бы прусские, а у себя пруссаки давно и жёстко покончили с любыми проявлениями польского национализма и патриотизма.

Длинный язык довёл графа Замойского до Петербурга, куда на воспитательную беседу его вызвал русский самодержец. Сначала требовал, чтобы шляхтича доставили под конвоем, но затем отошёл и согласился принять его как верноподданного.

— Давайте говорить начистоту. Мы даём полякам свободы, каких у них не было с 1830 года, а вы отвечаете насилием и террором. Чего вы добиваетесь? — спросил император.

— Нас устроит только независимость, причём в границах 1772 года, — отвечал Замойский.

— Вы со мной говорите так, как будто после нашего поражения диктуете мне условия мирного договора. Но Россия не проиграла ещё войну Польше, — заключил государь и велел выслать графа за границу, лишив аристократическую партию её вожака. Что касается польских демократов, то Домбровский уже сидел в тюрьме, откуда разрабатывал план восстания, но красные были опасны в первую очередь не руководством, а своей ударной силой.

На участвовавшие выступления революционеров варшавская администрация отреагировала объявлением внеочередного **рекрутского набора**, под который должна была попасть

добрая часть находившейся под подозрением молодёжи: порядка двенадцати тысяч человек. Особенностью было то, что под ружьё призывались не крестьяне, а горожане, а сам набор проходил не по жребию, а согласно заранее составленным спискам. Это решение, грозившее обескровить организацию польских демократов, стало детонатором, ускорив подготовку и так готовившегося восстания.

«Почалось». Второе польское восстание вспыхнуло в январе 1863 года, начавшись нападением разрозненных партизанских дружин на российские военные гарнизоны. Казарм не было — солдат пускали на постой в частные дома. Мирно спавших и ничего не подозревавших людей просто вырезали под покровом темноты, устроив «варфоломеевскую ночь по-польски». Одновременно повстанцами устанавливалось временное правительство — «жонд народовы» — и провозглашалась польская независимость.

*Ещё Польша не сгинела...
Ещё Польша не погибла,
Если мы живём!
Что враги у нас отняли,
Саблей отберём!*

— шли в атаку польские отряды под «Марш Домбровского», ставший гимном несуществующего государства. Его флаг — с тремя гербами: польским орлом (белая полоса), литовским всадником (красная полоса) и русским архангелом (синяя полоса).

В считанные месяцы численность повстанческих войск достигла пятидесяти тысяч, а само восстание распространилось на соседние регионы, включая белорусско-литовские и малороссийские губернии. Партизаны действовали с особой жестокостью. Заходя в ту или иную деревню и не встречая поддержки, не говоря уже о случаях прямого сочувствия русским властям, селян подвергали пыткам, отправляли в петлю и ставили на ножи, а лошадей и провиант забирали силой. Попавшимся в плен русским солдатам отрезали носы, уши и языки, сдирали кожу, делая на груди «мундирные отвороты», наконец, просто хоронили заживо.

Европейская пресса, переворачивая всё с ног на голову, благодушно приписывала творимые поляками зверства «русским оккупантам». Делалось это, во-первых, под напором польских диаспор, а во-вторых, для обоснования вмешательства в российские внутренние дела. Колесивший в это время по заграницам критик Василий Боткин, которому эти события «раскрыли глаза», пошатнув его западнические убеждения, из-за рубежа сообщал:

— В Европе общественное мнение решительно на стороне поляков, чьи претензии и требования очевидно имеют целью не только ослабление России, но удаление её из Европы в Азию. Этой цели не скрывают здесь ни журналы, ни английский парламент, и вполне сочувствуют Польскому восстанию, как средству для достижения этой цели. Вот что будет значить для нас восстановление Польши. Но наши пустоголовые прогрессисты ничего этого не понимают. Представим себе Польшу восстановленную, самодержавною, да разве на этом она и успокоится? Разве она не будет всячески стараться вредить России и в этом всегда найдёт поддержку в Европе, интерес которой как можно более ослабить нас. Не будет ли это всё равно, что завести у себя на западе второй Кавказ?

Лондон, Париж и Вена стали забрасывать Петербург нотами, выражая глубокую озабоченность и решительный протест и требуя немедленно прекратить «преследование польских патриотов». Этот «дипломатический поход на Россию» должен был в том числе прикрыть неприглядные факты, обнажавшие истинную роль европейских правительств в ходе восстания.

Дело в том, что выступление было начато красными, но почти сразу руководство процессом оказалось перехвачено белыми, которые надеялись оградить свои имущественные интересы от притязаний крестьянства и делали ставку на помощь западных столиц. Впрочем, назна-

ченный «диктатором восстания» поляк, из французской эмиграции, нелегально явившийся через прусскую границу, в первые же четыре дня возвращения на родину со своим небольшим отрядом был дважды разбит в небольших стычках с русскими войсками, после чего, громко ругаясь и разводя руками, объявил, что, мол, выступление плохо подготовлено, и ретировался восвояси.

Однако даже несмотря на поражения от регулярной русской армии повстанцы отвергли мирные предложения царя и упорно продолжали борьбу. Они были уверены, что Запад им поможет. Правда, британцы и французы, не говоря уже о немцах, воевать за поляков были не готовы, потому что имели дела поважнее, да и требования «борцов с самодержавием» ставили иностранных дипломатов в тупик.

— Что за Польшу вы желаете восстановить? — спрашивали у них в британском Уайтхолле. — Должны ли мы включать в неё Познань и Галицию? Если да, то вызовем сопротивление Пруссии и Австрии, и что же тогда — европейская война?

В свою очередь рядовое польское население, видя, что восстание поддерживается панской аристократией, стало подозревать неладное, тем более что русский император сразу объявил, что все, кто не совершил убийств и сложит оружие, попадёт под амнистию. Более того, обещал, что курс на реформы будет продолжен, а польское крестьянство получит земли нелояльных помещиков.

Как результат, все заходы европейцев были твёрдо отклонены как вмешательство в наши внутренние дела, тем более что большая часть западных требований по факту уже была реализована в рамках проводившихся польскими наместниками реформ, а поскольку дипломатический ответ был подкреплён успехами в подавлении мятежа и растущей поддержкой польских крестьян, то на этом дело и кончилось. В военном отношении исход восстания был предрешён уже к концу лета 1863-го, но последние его очаги будут ликвидированы лишь к осени 1864 года (хотя отдельные партизаны и после этого долго ещё будут бегать по лесам).

*Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьёмся с мертвецами,
Воскресимши для новых похорон,*

— откликнулся на события Фёдор Тютчев, в этом политическом кризисе проявивший себя сторонником жёстких мер.

Польские мятежники потеряли две тысячи убитыми в боях, десять тысяч успело бежать в эмиграцию, а сорок тысяч отправилось на каторгу, по ссылкам и в арестантские роты. Руководителей восстания приговорили к смертной казни. Вскоре Царство Польское будет разжаловано в Варшавское генерал-губернаторство (так называемые «привислинские губернии»), администрация станет полностью русской, а польский язык начнёт вытесняться из учебных классов и чиновничьих кабинетов. В довершение перед Наместническим дворцом, где во время восстаний помещалось правительство мятежников, а теперь находится штаб-квартира президента, установили 12-метровый бронзовый памятник Ивану Паскевичу. Прославленный николаевский фельдмаршал, правивший Польшей от имени царя почти двадцать лет, а до этого своей твёрдой рукой лично усмиривший тогдашних бунтовщиков, заменил демонтированную статую Юзефа Понятовского, почитаемого поляками в качестве героя борьбы за независимость и хаживавшего на Россию ещё с войском Наполеона.

Наведение порядка в умиротворённой Польше возложили на нового наместника, сменившего великого князя Константина, — **Фридриха фон Берга**, опытного военачальника, ветерана наполеоновских войн, который в молодости уже принимал участие в усмирении одного польского восстания, а впоследствии долгие годы занимал пост финляндского гене-

рал-губернатора. Искусный политик, он пытался несмотря на военное положение и усиленные меры правопорядка привлечь поляков пряником, смягчая перегибы вышестоящих властей, но чем дальше, тем больше либерализм в польской политике — да и во внутренней российской вообще — наткнулся на растущее сопротивление в среде высших кругов петербургской знати.

Для начала Петербург постановил, что впредь русская Польша будет управляться строго из имперской столицы, следуя распоряжениям чиновников особого комитета. Заместителем его председателя, а фактически — руководителем, был назначен Николай Милютин. Себе в помощники он избрал славянофилов Юрия Самарина и Владимира Черкасского.

— Надо поднять народ, искать опоры в нём... Между мной и польской аристократией всё кончено, — говорил Александр II брату военного министра. Это означало, что, как и было обещано, поместья нелояльной шляхты будут конфискованы, а земля роздана крестьянам. Вот где творец отмены крепостного права, вызванный из отставки, мог в полной мере сделать то, чего ему не дали доделать в отношении российской деревни.

— Я нимало не воображаю, — пояснял Милютин, — что этим Польша привяжется к России. Таких мечтаний я не питаю. Но лет на двадцать, максимум двадцать пять хватит, а это всё, что может предположить себе государственный человек.

Полагали, что раздача польских конфискованных имений, охарактеризованная современником как «вакханалия концессий», будет способствовать целям обрусения края.

Как шутили тогда острословы, *начнём с того обрусение, что каждый выберет себе имение...*

В реальности оголтелая **политика русификации** оттолкнула от Петербурга не только ту часть польской аристократии, которая до сих пор питала какие-то либеральные иллюзии, но и окончательно отпугнула средние слои, включая местную интеллигенцию. Барон Николай Врангель, несколько лет проработавший в Варшаве, вспоминал:

«Основным принципом московских патриотов было заменить всех чиновников-католиков чисто русскими, то есть православными. На должность начальников уезда назначили офицеров, воевавших в этом крае, на должность земельных инспекторов — офицеров низшего ранга; они выполняли свои обязанности добросовестно, иногда слишком добросовестно, вмешиваясь часто в дела, которые к ним отношения не имели. Все остальные чиновники вообще никуда не годились. Так как Польша не имела русских чиновников, их пришлось выписать из России. Там воспользовались этим, чтобы избавиться от всякого хлама, и на должности, требовавшие лучших, прислали самых негодных, но и этих было недостаточно, чтобы пополнить все места. Тогда на ответственные посты посадили присланную шушеру, а исправных поляков сместили на низшие места. Прибывшие из России и никаких постов там не занимавшие люди оказались в Польше начальниками, о чём в России они и мечтать не могли, и успех вскружил им головы. Себя они считали победителями, безграничными владыками завоёванной страны и с поляками обращались свысока, демонстрируя им своё презрение».

Конечно, разделяли подобные установки далеко не все представители верховной власти, но голоса таких деятелей, патронируемых великим князем Константином, не вписывались в общую гамму царивших теперь настроений.

«Как можно налагать русские распорядки на край, вовсе не русский? — вопрошал чиновник, публицист и учёный Александр Гильфердинг в статье „Положение и задачи России в Царстве Польском“, которую он написал по просьбе министра Дмитрия Милютина для журнала „Русский инвалид“, издававшегося военным ведомством. — Это совершенно противно духу русского народа, преданиям русской истории. Если бы русская административная система, русское судопроизводство и т. д. были идеалом совершенства, то, пожалуй, можно бы было подумать о такой мере. Но мы признаём их далёкими от совершенства и для самой России».

Закопёрщиком русификаторской политики в прессе выступал Михаил Катков, а её непосредственными проводниками — уже упомянутые славянофилы Черкасский и Самарин. Сати-

рический поэт Алексей Толстой, задетый нападками истых патриотов в свой адрес в связи с публичным тостом, в котором он имел неосторожность поднять бокал «за русское государство во всём его объёме, от края и до края, и за всех подданных государя императора, к какой бы национальности они ни принадлежали», не преминул ответить и в своих стихах прошёлся по упомянутой троице:

*Друзья, ура единство!
Сплотим святую Русь!
Различий, как бесчинства,
Народных я боюсь.
Катков сказал, что, дискать,
Терпеть их — это грех!
Их надо тискать, тискать
В московский облик всех!
Ядро у нас — славяне;
Но есть и вотяки,
Башикирцы, и армяне,
И даже калмыки...
Страшась с Катковым драки,
Я на ухо шепну:
У нас есть и поляки,
Но также: *entre nous*;
И многими иными
Обилен наш запас;
Как жаль, что между ними
Арапов нет у нас!
Тогда бы князь Черкасской,
Усердием велик,
Им мазал белой краской
Их неуказный лик;
С усердием столь же смелым,
И с помощью воды,
Самарин тёр бы мелом
Их чёрные зады...*

Французское выражение «антрэ ну» значит «между нами». С такими едкими стихами по-другому и не бывает. Конечно, напечатаны они не были — большинство изданий предпочитало темы польского восстания не касаться, руководствуясь принципом «как бы чего не вышло». Установившееся в информационном пространстве гробовое молчание было нарушено обстоятельной статьёй, появившейся в журнале «Время», который редактировался бывшим политикаторжанином Фёдором Достоевским. Материал был в общем-то весьма даже верноподданнический, да и сам журнал стоял на твёрдых антизападнических позициях, но на фоне всеобщей тишины публикация прозвучала слишком громко, разгорячённые патриоты восприняли это как проявление «полонофильских симпатий» и «предательство русских интересов», и журнал оказался закрыт.

Тон «патриотической истерии», как было сказано, задавал Катков. Именно пламенные статьи Михаила Никифоровича в «Русском вестнике» и «Московских ведомостях», писанные в связи с польским восстанием, закрепили за бывшим университетским профессором либеральных воззрений репутацию ярого консерватора, а поскольку никаких репрессий, в отличие от

того же Достоевского, за критику чересчур осторожного правительства на него не обрушилось, он превратился в одну из влиятельнейших персон государства вне государственной службы. Случай совершенно беспрецедентный: обычно представителями самодержавия люди без чина и мундира воспринимались чем-то вроде нулей без палочки.

— Его заслуги неисчислимы, — говорил российский посол в Париже, которому пришлось ломать копыя в дипломатических стычках по польскому вопросу. — В условиях всеобщей растерянности Катков указывал путь; когда в самый разгар нашего столкновения с державами приходили ко мне из России газеты и деловые бумаги, я принимался прежде всего не за депеши нашего министерства, а за «Московские ведомости»; *je preferais toujours l'original a la copie*, — признавался глава дипмиссии: он «предпочитал всегда оригинал копии».

В частности, это с подачи Каткова в глазах общественного мнения были возведены в разряд национальных героев, во-первых, министр иностранных дел князь Александр Горчаков, защитивший страну от «крестового похода западной дипломатии», а во-вторых, бывший министр государственных имуществ **Михаил Муравьёв**, которому было поручено **умиротворение Северо-Западного края**, то есть земель, когда-то принадлежавших Великому княжеству Литовскому. Хотя оное давно почило в бозе, полонофильские настроения там царили до сих пор, причём их носителями были представители местной окатоличенной верхушки, нещадно угнетавшие сохранивших православную идентичность белорусских крестьян.

Кандидатура бывшего министра государственных имуществ на пост виленского генерал-губернатора была продвинута придворной консервативной партией. Брат декабриста, некоторое время и сам состоявший в рядах заговорщиков и даже посидевший за это в крепости, но оправданный, он уже бывал губернатором в этих краях — как раз после первого польского восстания.

— А не приходите ли вы родственником моему бывшему знакомому Сергею Муравьёву-Апостолу, который был повешен в 1826 году? — спрашивали тогда местные шляхтичи.

— Я не из тех Муравьёвых, что были повешены, а из тех, которые вешают, — грозно отвечал губернатор.

Теперь в Зимнем дворце о нём вспомнили вновь и посчитали, что лучшего претендента на эту должность не сыскать.

— Спасите и сохраните для России хоть Вильну, — слёзно умоляла императрица Мария Александровна.

— Ваше величество, готов пожертвовать собой ради России, но для этого мне потребуются широкие полномочия...

Полномочия ему действительно дали расширенные — как в плане политического масштаба, так и с точки зрения географического охвата: хотя формально в сферу ответственности виленского (или, как говорили прежде, литовского) генерал-губернатора входили только три губернии с центрами в городах Вильно, Ковно (Каунас) и Гродно, в довесок Муравьёв получил ещё три чисто белорусских губернии — Минскую, Могилёвскую и Витебскую. Всё вместе это и составляло так называемый Северо-Западный край.

Получив карт-бланш, старик — он разменял седьмой десяток и до своего назначения полагал, что доживёт в залуженном отдохновении от трудов — с жаром принялся вырывать с корнем господство польско-католической верхушки, которая держала в узде белорусских крестьян как административно, так и культурно, притесняя православную веру и белорусский язык. Теперь с этим должно было быть покончено раз и навсегда — никаких ляхов и латинян на исконно русской земле. Генерал миндальничать не любил, поэтому взялся за наведение порядка твёрдой рукой, не чураясь прибегать к публичным казням.

Нужно сказать, что белорусские мужики охотно поддержали нового генерал-губернатора. Православные по вере, они слабо сочувствовали лозунгам борьбы за польскую независимость, а перспектива впахивать на католическую шляхту и вовсе им не улыбалась, поэтому обитатели

местных деревень даже собирались в дружины, чтобы сообща защищаться от партизанских банд, предводителем которых в Северо-Западном крае выступил **Константин Калиновский**, представитель безземельной шляхты и выходец из землевольческого кружка петербургских студентов. Кастусь — так его называли соратники — был уверен, что белорусская свобода возможна только в союзе с польской независимостью.

Москва и Петербург тоже смотрели на размашистую деятельность генерала с одобрением.

«А Муравьёв хват! Вешает да расстреливает. Дай Бог ему здоровья», — восклицал славянофил Александр Кошелёв в письме своему товарищу Михаилу Погодину.

Благодарный император пожаловал Михаилу Николаевичу высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного с титулом графа в придачу. Муравьёв-Виленский — неофициально величали графа его почитатели, а их противники, либералы и демократы отечественного разлива, прозвали «вешателем». Столкновение позиций даже вылилось в скандал. Когда придворные славянофилы вслед за государем, от имени дворянства, решили поздравить Муравьёва, направив ему приветственный «адрес», петербургский генерал-губернатор Александр Аркадьевич Суворов, князь и внук великого полководца, отказался ставить свою подпись под документом и во всеуслышание назвал усмирителя Северо-Западного края «людоедом», вызвав переполох в столичных гостиных. В юные лета его сиятельство воспитывался в пансионе петербургских иезуитов, образование получил в Сорбонне и Гёттингене — самом вольнодумном университете на всём континенте, а потом даже был замешан в заговор декабристов. Однако времена менялись — и либерализм, по крайней мере, в среде сановников, снова выходил из моды.

*Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам — наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские — Европы не спросясь...*

— отзывался стихами поэт Фёдор Тютчев, бывший близким другом министра иностранных дел Александра Горчакова, по изначальному ходатайству которого император и отправил Муравьёва в Северо-Западный край.

— Вот вы говорите: вешатель, палач, людоед! А знаете что? — вступались за виленского губернатора, «отстоявшего России целость», его сторонники. — Край, сравнительно недавно присоединённый к империи и населённый русским мужиком. Кроме мужика, русского там не было ничего. Наше белорусское дворянство с лёгкостью продало и веру своих отцов, и язык своего народа, и интересы родины. Народ остался без правящего слоя и без интеллигенции. Выход в культурные верхи был начисто заперт ополяченным шляхетством. Благодаря Муравьёву сейчас там открыто три сотни народных училищ, а вы плачете о какой-то сотне повешенных по приговору суда преступников!

Насколько Муравьёв лёгким катковским пером был возведён в кумиры консервативно настроенной части общества, настолько имя великого князя Константина, предводителя «просвещённой бюрократии» и будто бы виновника «польской катастрофы», несущего ответственность не только за этот, но и вообще за все смертные грехи, с подачи того же Каткова превратилось в жупел, которым пугали рядового русского патриота.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.